



Карина Демина

# Хозяйка большого дома

Фэнтези • Любовный роман • Приключения

## Annotation

Война между двумя нечеловеческими расами — альвами и железными оборотнями — перекроила мир и отняла у Ийлэ не только семью, но и веру в людей. В ее доме поселился новый хозяин. Он из рода псов, которых Ийлэ ненавидит. Еще бы, ведь ей пришлось несколько месяцев терпеть их издевательства! Тем более подозрительными кажутся ей доброта и забота Райдо из рода Мягкого Олова, который получил ее поместье в награду. Что ему нужно в доме Ийлэ: сокровища, которые свели в могилу ее родителей, а затем и их убийц, или она сама, упрямая альва, не готовая поверить, что из ненависти может родиться совсем иное чувство?

---

---

**Карина Демина**

**Хозяйка большого дома**

Младенца Райдо нашел на кухне.

Не спалось. Давненько уже не спалось: ночью боль наступала. И порой Райдо казалось, что все его тело, и без того сшитое из лоскутов, вот-вот рассыплется. Он открывал глаза, пялился в потолок, по темноте серый, грязный и в разводах. Вытягивал руку, не то пытаясь дотянуться до этого потолка, не то просто убеждаясь, что еще способен шевелить руками. Малейшее движение отзывалось болью, и Райдо с непонятным ему самому удовлетворением изучал ее оттенки, гадая, когда же все закончится.

Доктора утверждали, что прогноз хороший и с наступлением зимы разрыв-цветок уснет, правда, когда Райдо спрашивал, а что будет весной, они отводили взгляд.

Бестолочи.

Он знал, что умрет, так какая разница! Зима, весна или вот осень...

Дожди седьмой день кряду. Райдо считал дни, зачеркивая их красным карандашом на обоях. Поначалу ему казалось, что он не протянет хоть сколько бы долго, но вереница крестов у кровати росла, и теперь Райдо нашел очередное развлечение — рассматривал их, пытаясь вспомнить день, который был скрыт за тем или иным крестом.

Получалось хреново.

У него всегда получалось хреново с памятью, а уж теперь, когда эта самая память здорово отравлена алкоголем...

...бутылка на полу.

Первое время Дайна ставила бутылку на столик, хороший столик, аккуратный, под белой скатеркой и кружевной салфеткой, которую Дайна старательно крахмалила, но от салфетки все одно тянуло щелоком и еще чем-то, что в безумной голове Райдо прочно увязывалось с госпиталем.

Дерьмо.

Полное.

Салфетку он сжег, и скатерть, и столик попытался, а вот бутылку оставил.

У кровати.

И сейчас он руку спустил, зашевелил пальцами, пробуя нащупать горлышко.

Не давалась. А когда далась, паскудина этакая, то обнаружилось, что бутылка пуста. И от этой жизненной несправедливости Райдо взвыл. Мысленно. Выть вслух не позволяла гордость.

Зацепившись рукой за изголовье кровати, металлическое, витое, раздражавшее острым запахом холодного железа, который по дождям сделался особо резким, Райдо сел. Голова кружилась. Сколько он выпил? Много. Но недостаточно много, чтобы уснуть.

— Бутылка, — позвал Райдо, шурясь, — ты где? Цып-цып-цып...

Должна быть. В комнате всегда имелся запас. Дайна следила, ставила где-нибудь поближе к кровати. И Райдо, опустившись на четвереньки, под кровать заглянул.

Пусто.

Ан нет, что-то виднеется под столиком. Далеко. И Райдо не дойдет. Или все-таки дойдет? Если на четвереньках... раз-два... стоять тяжело, и тело того и гляди развалится. Но ничего, как-нибудь, пусть лучше развалится с вискарем, чем без него.

И эта бутылка оказалась пустой.

— Вот гадство, — сказал Райдо и добавил пару слов покрепче, потому как ситуация располагала.

Он поднялся, опираясь на несчастный столик. Комната качалась. Или Райдо качался?

Нажраться успел.

Матушке бы не понравилось. Матушка бы укоризненно покачала головой и, быть может, сказала бы, что Райдо следует взять себя в руки. Он и взял. И даже постоял, опираясь на подоконник, пялясь в окно. Темное. Рама белая, свежескрашенная. А гарью тянет, но не от рамы — от стены...

...дом горел — давно, наверное, вечность тому, поскольку на войне время идет совсем иначе, но война позади и дом подлатали, прежде чем вручить Райдо.

Законная награда.

И радоваться бы, а он чувствует шрамы, которые странным образом роднят его и этот альвийский особняк. Но сочувствия не испытывает. Порой Райдо начинало казаться, что он вообще утратил способность испытывать какие-либо эмоции помимо раздражения, да и то постепенно утопало в море виски...

...да, о виски думать надо.

...о бутылках-бутылочках, которые прячутся на кухне, в погребе. Райдо точно знал, что виски Дайна запирает, не от него, но от Ната, который еще слишком молод, чтобы пить. Смешно. Воевать — не молод, а пить — увы...

...но Райдо знает, куда убирают ключ. И вообще, он хозяин в доме!

Дом был живым и тоже мучился болью, которую доставляли что старые раны, что новые жилы, не способные их зарастить.

— Весной я сдохну, — пообещал Райдо, проводя ладонью по шершавой стене. — А ты, напротив, оживешь. Я оставлю завещание, чтоб тебя подкормили... и вообще... к хрысевой матери все.

Дом молчал.

Спал уже? Если так, то ему повезло. Райдо тоже поспал бы, хотя бы пару часов, но для этого нужно виски, которое немного приглушит боль. И плевать, что и сон его будет пьяным, главное, что этот сон в принципе будет.

— Сейчас я соберусь с духом и дойду до двери.

Можно было бы кликнуть Ната. Он бы стонял за виски, но Райдо только представил встревоженный взгляд мальчишки, в котором и страх, и надежда — интересно, на что он надеется? — и скрытая жалость. Жалости он не хотел.

Чего жалеть?

С каждым могло случиться... и жаль, что сразу не умер... был бы героем, а так... кто?

В затянутом дождями стекле отражался он. Герой? Тихий алкоголик, который живет от бутылки до бутылки. И ради бутылки. Вода размывала шрамы и черты искажила, и Райдо провел по стеклу ладонью, а потом, влажной, пахнущей этим самым затяжным дождем, лицо отер.

Нет уж, пусть Нат спит, у него свои кошмары. А кошмары — дело личное, можно сказать, интимного свойства. И Райдо не настолько ослаб, чтобы до кухни не добраться...

...главное, ночной горшок не задеть, а то грохоту будет...

...тоже придумали, ночной горшок ставить...

...он не лежачий. Пока.

Когда-нибудь, к весне ближе. Может, тогда и хватит силы духа избавиться и себя от

мучений, и близких от невыносимого ожидания. Мысль о смерти была настолько притягательной, что Райдо остановился. А чего, собственно говоря, он тянет?

Ночь. Тихая такая... спокойная. Подходящая для того, чтобы сдохнуть. Вот только...

— На хрен, — с чувством произнес Райдо, делая осторожный шаг в сторону двери. — Нажрусь и отосплюсь. А там зима, слышишь, ты, тварь?

То, что сидело внутри, прорастая, раздирая тело, точно оно не в достаточной мере разодрано было, не отозвалось. И ладно.

И к лучшему.

Когда оно отзывалось, Райдо приходилось закусывать руку, чтобы позорно не заорать...

...а сейчас орать нельзя. Разбудит.

Сейчас надо осторожно добраться до двери. И от двери до лестницы, которая вниз ведет... двадцать две ступеньки... что такое двадцать две ступеньки? На каждую у него слово найдется доброе, матерное... главное, чтобы шепотом, чтобы осторожно. И дом, решив подыграть, замирает. Не скрипят доски паркета, не вздыхают трубы, ветер, свивший в пустых каминах гнездо, и тот примолк. И ладно.

Некогда огромный холл в темноте выглядит бесконечным. Темные стены. Черные зеркала. А картин нет, сожгли. Это ж какими уродами надо быть, чтобы сжечь картины? Райдо точно знает — были... он рамы нашел... и обрывок пейзажа... у себя спрятал.

Зачем?

А просто так. В детстве он камни красивые собирал. И осколки стекла. И прочий хлам, который тогда казался драгоценным, и теперь вот захотелось сокровищ...

Дайна сказала, что на чердаке сохранилась пара сундуков со старыми вещами и надо бы их глянуть, разобрать, выкинуть ненужное, а Райдо запретил их трогать. Он бы сам добрался до чердака, но туда дальше, чем до кухни, а сил у него не так и много. Дом качает... укачивает... если прилечь, то и колыбельную споет. Райдо бы прилег, только ведь знает — не уснет.

Без виски.

Темный коридор.

И дверь приоткрыта. Аромат свежего хлеба и еще мяса, которое привозили тушами и разделявали тут же, на старой почерневшей колоде... молоко... ароматные травы.

Дождь.

Приоткрыто окно, должно быть, кухарка оставила, пытаясь избавить кухню от дыма, который пропитал здесь все: старая печь чадила, и дымоходы по-хорошему следовало бы почистить. Как-нибудь потом. Зимой, например.

Глядишь, зимой он и вправду немного оживет.

А сейчас Райдо, добравшись до окна — на подоконнике расплывалась темная лужа, — прижался лбом к холодному стеклу.

Хорошо.

Дышать легко. Он и не понимал, насколько ему не хватало воздуха и воды, пусть вода эта холодна, каждое прикосновение почти ожог, но до чего хорошо.

И умирать он погодит. Потянет еще немного, день или два... десять... сто... сколько получится, не ради себя, но ради таких вот мгновений, когда он, Райдо, чувствует себя почти живым. Присев, он коснулся пальцем лужи, провел по ней, ощущая и воду, и шершавую поверхность подоконника, обернулся.

И увидел младенца.

Точнее, Райдо не сразу понял, что это именно младенец, так, груды тряпья. Кухарка забыла? Она никогда и ничего не забывала, полнотелая розовая женщина, до того плотная, что Райдо не мог отделаться от чувства, что собственная шкура ей тесна. Она носила серое платье и белые фартуки, которых было ровно семь штук, на каждый день недели — свой. По пятницам кухарка замачивала фартуки в щелоке, а по субботам — кипятила. Старую колоду перед рубкой мяса она обязательно обдавала кипятком, а стол скоблила с какой-то маниакальной страстью и уж точно не стала бы оставлять на нем грязные тряпки.

От тряпок несло уборной, и запах этот, до того скрытый среди иных, обычных кухонных, вдруг стал резким. А Райдо подумал, что, наверное, ему мерещится. Предупреждали ведь, что разум его, затуманенный болью и выпивкой, способен играть злые шутки.

— Надо же, — пробормотал Райдо, отступая от подоконника. До стола он добрался и, вытянув палец, ткнул в тряпье.

Мокрое. Грязное и...

Райдо зажмурился, убеждая себя, что ему все-таки примерещилось. Но нет, тряпье не исчезло.

Младенец тоже. Он лежал тихонько, уставившись на Райдо огромными какими-то стеклянными глазами.

— Ты кто? — Райдо осторожно потянул за тряпку, которая, похоже, некогда была старой шалью. — Нет, я понимаю, что ты не ответишь, просто привык разговаривать... особо тут поговорить не с кем...

Младенец моргнул, как-то медленно, отчего стало понятно, что и это действие стоило ему немалых усилий. Личико его, в полумраке представлявшееся одним белым пятном, исказилось, рот приоткрылся, обнажив белесые десны, но младенец не издал ни звука.

— Гм, — сказал Райдо, потому как ситуация требовала слов, а в голове было пусто, не считая, конечно, привычного уже шума, рожденного исключительно хмелем. — Ну... здравствуй, что ли?

Шаль он развернул. Влажная. И тряпье под ней темное, провонявшее.

— Это надо снять. А то простынешь. Ты не думай, у меня опыт есть, я с детьми дело имел... у меня племянники... между прочим, трое... или уже четверо?

Он разворачивал тряпку за тряпкой, а младенец смотрел.

Видал ли?

Тощий какой.

Или не тощий, а... неправильный младенец. Младенцам — Райдо знал это совершенно точно — полагается быть бело-розовыми и толстыми, с перетяжками на ручках и ножках, с округлыми животами и кисло-сладким запахом молока. А этот... раздувшийся живот-пузырь и неестественно тонкие ручонки. Ноги-веточки, ступни на них — словно на нитках висят. И кожа бледная, холодная.

— Да ты замерзла. — Райдо торопливо рванул рубаху, забыв, что давно уже не способен снять ее сам.

Ложь.

Вполне вот способен. И снять, и разодрать ворот... ничего, Дайна заштопает. Или новую купит. В конце концов, что такое рубашка? Пустяк.

Или многое, если теплая.

Райдо торопливо разостлал ее на столе. Младенца он брал осторожно, опасаясь, что, стоит прикоснуться, и тот исчезнет.

Или умрет.

Он ведь почти уже умер, дышит еле-еле... но в руках слабо шевельнулся.

— Вот так... мы с тобой сейчас...

Он заворачивал найденыша в рубашку, радуясь тому, что рубашка эта теплая и огромная, хватит, чтобы укутать с головой.

На макушке топорщились темные волосики. И пахло от них лесом, осенним, волглым, который виднелся за краем поля. И в первый день еще Райдо сумел до него добраться, сел на опушке и дышал. Смотрел на сине-зеленые лапы елей, на стволы их, покрытые мелкой чешуей коры, на янтарные слезы...

— Тише, маленькая... мы сейчас... — Он совершенно растерялся, вдруг поняв, что не представляет себе, что делать дальше. — Сейчас мы...

...Ната надо позвать.

...или Дайну... или кого-нибудь, но в доме, кажется, никого больше и нет. Значит, Ната. Пусть берет лошадь и в город за треклятым доктором, который из Райдо своими советами душу вынул.

Райдо доктор не нужен.

А малышка умирает, и — как знать! — дождется ли помощи...

Он уже открыл рот, чтобы заорать, не имя, но просто заорать, доораться до кого-нибудь в растреклятом пустом доме, слишком большом для одного, когда сзади раздалось шипение.

И Райдо оглянулся.

Отродье почти сдохло.

Оно умирало давно, и, по-хорошему, следовало бы отпустить его, но Ийлэ продолжала делиться силой. Зачем?

Не знала.

Она потерялась. И умерла, наверное, еще тогда, прошлой осенью, а то, что осталось, — не Ийлэ. Оно иррационально. Оно ненавидит отродье и все-таки не способно его бросить.

Оно боится одиночества?

Ийлэ засмеялась, прижимая сверток, который давно уже перестал плакать, к груди. Смех клокотал в горле. Колючий. И горький. И еще, наверное, безумный, но разве здесь был хоть кто-то, кто способен испугаться ее безумия?

Никого.

Наверное, она могла бы остаться здесь, меж корней старой ели, которая растопырила колючие лапы — хоть какая-то, а защита от дождя. Он, начавшийся неделю тому, все шел и шел.

Влажный воздух. Влажные листья, созревшие, темно-бурые, но если закопаться в них, становится теплей. В сон клонит. И иногда Ийлэ позволяет себе поспать, правда недолго, просыпается от голода и еще потому, что отродье вновь подходит к самому краю. Нить его жизни, и без того тонкая, ныне вовсе стала паутиной из тех, старых, которые рвутся не прикосновением — дыханием.

Дыханием и спасаются.

Ийлэ наклоняется к бледному лицу, стараясь не замечать черт его, раскрывает губы и вливает в раззявленный рот отродья еще немного сил: если умирать, то вдвоем. А там какая разница — в дожде ли, в снегу, до которого уже недолго. А еще раньше, предупреждая, ударят морозы, и лес окончательно провалится в глубокий сон. Силы иссякнут.



И закончится эта нелепая, самой Ийлэ непонятная борьба.

Давно пора бы, а она все живет. Вчера, позавчера и за день до того. И дни сплетаются бесконечной вереницей. Дни забрали лето и удобную обжитую нору, заставив пробираться к дому, который, предатель, стоит, будто бы и не случилось ничего...

...она вжалась в листву.

Мокрая.

И одежда мокрая. И тряпье, в которое завернуто отродье, тоже мокрое. А в доме сухо. Он ведь рядом, Ийлэ знает и эту ель, и поле, и тропу, которая, верно, не заросла. На кухне всегда оставляли дверь открытой...

— Глупость. — Ийлэ потрогала языком клыки. — Соваться туда — безумие...

Ветер тронул ель, и та покачнулась, стряхивая с ветвей воду.

Соваться — одно безумие, оставаться — другое. И какое из двух будет менее болезненным? Если остаться, отродье точно ночь не протянет. А в дом... можно попробовать войти тихо... и тихо же выйти... Ийлэ ведь немного нужно.

Еды.

Для нее и для отродья, которое смотрит, ждет и, наверное, смирилось уже.

Ийлэ легла рядом, закрыла глаза, прислушиваясь к шелесту дождя. Она попробует, просто попробует. Не ради отродья, но потому что сама нуждается в еде. Надо только подождать, когда наступит вечер...

Солнце утонуло в небесных хлябях. И закат отгорел, тусклый, разбавленный. Темнота же получилась крошечной.

Ийлэ не нужен был свет, она тропу помнила распрекрасно. Шла. Кралась, едва ли не на цыпочках. С поля кукурузу так и не убрали. Стебли ее терлись друг о друга, шелестели, ложились под ноги, тонули во влажной земле. И тропа вихляла.

А дом не приближался.

Он появился как-то вдруг, темной громадиной. Ийлэ замерла на краю, разглядывая его жадно, пытаюсь понять, что же изменилось.

Ничего.

Белые стены. Черные прямоугольники окон. Фриз. И крыша двускатная, которая наверняка вновь подтекает. А северное крыло выпустило тонкие хлысты неурочных побегов, и они упрямо держали глянцевою листву, точно надеялись остановить зиму. Облетят. Подмерзнут. И ладно бы только они, но ведь и корни, не прикрытые шубой опада, пострадать способны.

Ийлэ едва вновь не рассмеялась, поняв, о чем она думает... дом? Это больше не ее дом. Он предал, как предали все: что люди, что вещи.

Бывает.

Раньше она не знала, что только так и бывает.

К дому Ийлэ пробиралась крадучись. Пуст был старый двор, а дверь кухонная — заперта, но открыто окно. Окна в кухне прежними оставили, с ними Ийлэ умела управляться. Нащупав щеколду, она легонько надавила на раму, которая поддалась охотно, будто дом, силясь хоть как-то загладить свою вину, решил помочь.

На кухне было тепло. Жарко. Настолько жарко, что Ийлэ растерялась. И еще от сытных запахов, которые окружили ее. Мясо. Молоко. Хлеб. Она целую вечность не ела хлеба и наверное забыла сам вкус его. Надо взять себя в руки.

— Мы быстро, — пообещала Ийлэ отродью. — Потерпи.

Только глаза в темноте блеснули, будто и не глаза, но перламутровые пуговицы...

...на мамином сизалевом платье были такие...

Нельзя думать. Нельзя вспоминать, память делает Ийлэ слабой.

Она положила отродье на стол и огляделась. Странно, что все почти по-прежнему. Печь остывает. Доходит в деревянной кадке тесто, и значит, поутру кухарка испечет хлеб, быть может, точь-в-точь такой, как прежде, с румяной корочкой, густо усыпанной кунжутным семенем. И запах хлеба выберется с кухни на первый этаж, а может, и на второй...

Ийлэ сглотнула вязкую слюну. Хлеб она найдет, а при везении — не только его. Главное, поторопиться.

Дверь в кладовку была заперта на засов, и несмазанные петли закрипели, резанув по нервам. Ийлэ замерла, прислушиваясь к дому. Ничего. Никого.

Кем бы ни были новые хозяева, они спят. Пускай.

Ийлэ принялась к темноте.

И решила, сделала шаг вниз по узкой лестнице. Второй и третий. На последней ступеньке нога соскользнула, и Ийлэ упала, к счастью на четвереньки. Ладони ободрала, кажется, но это мелочь, главное, она в подвале. И слева полки. Справа, помнится, тоже.

Жаль, свечи нет и приходится на ощупь, осторожно. Кувшины. В первом же молоко попало, но прокисшее. В следующем — сыворотка... и сметана... Ийлэ проверяла кувшин за кувшином. Попутно стянула пару колец колбасы, которая сохла на крюках. Колбасу она сунула за пазуху, потуже затянув пояс. Остановилась. Хмыкнула — благо в подвале не было никого, крысы и те сбежали — и куртку стянула. Все одно мокрая и толку с нее никакого. А вот если завязать рукава и горловину перетянуть шнурком, то получится мешок. В мешок колбасы больше влезет.

И балык копченый.

И еще что-то длинное, квадратное, но явно съедобное. Сыр.

И снова колбаса, в которую Ийлэ, не выдержав, впилась зубами. Она откусывала куски, глотала не разжевывая, пытаюсь хоть как-то заполнить пустоту в желудке. Голод, отступивший было, вернулся, и Ийлэ вдруг поняла, что еще немного и сдохнет прямо тут, в подвале.

То-то новые хозяева обрадуются.

Плевать.

Она заставила себя сунуть колбасу в мешок, а мешок перекинула через плечо. Тяжелый. И это хорошо, потому как ясно, что вновь пополнить запасы еды Ийлэ сможет не скоро.

Если вообще сможет.

А молоко обнаружилось на полках справа. Ийлэ не без труда вытащила тяжеленный кувшин, скользкий, запотевший, но с удобной ручкой. Молоко было свежим и холодным, но лучше такое, чем никакого, глядишь, отродью и понравится...

...или все-таки сдохнет?

Поднималась Ийлэ в превосходном настроении.

А дом снова предал.

Мог бы предупредить скрипом половицы, осторожным прикосновением сквозняка, тенью, что легла бы через порог, но нет, он смолчал.

Позволил выбраться. И увидеть.

Пес был огромен. Страшен.

Он стоял спиной к Ийлэ, склонившись над столом, над отродьем, которое... которая... от бессильной ярости Ийлэ зашипела, и пес обернулся.

— Надо же, — сказал он, и в голосе не было и тени удивления. — А вот и наша мамаша объявилась.

Он держал отродье на ладони, и то ли ладонь эта была велика, то ли отродье было мелким, но меж растопыренных пальцев выглядывала лишь макушка.

— Стоять! — Пес не спускал с Ийлэ настороженного взгляда. — Я тебя не трону.

Так Ийлэ ему и поверила.

Она медленно попятилась, но вовремя остановилась, сообразив, что запасного выхода подвал не имеет. А между Ийлэ и спасительным окном стоит пес.

И отродье опять же. Нельзя его бросать...

Пес же, втянув воздух, поинтересовался:

— Молоко?

Ийлэ кивнула.

— Сюда неси.

Она не сдвинулась с места. Она, быть может, и безумна, но не настолько, чтобы приближаться к псу.

Жуткий.

Бритая голова, раскроенная рубцами, как и все его тело. На шее рубцы потемневшие, а на груди свежие, бледно-розовые и лоснящиеся. Сквозь кожу сочится сукровица, и до Ийлэ доносится запах болезни, острый, едкий.

Смотрит. Не моргая. Исполдлобья.

— Сюда неси, — повторил пес.

Голос рокочущий.

Ийлэ попятилась, прижимаясь спиной к стене. Дверь свободна. Если не через окно... если пес здесь один... главное, из дому выбраться, а там дождь следы смоем...

...болен.

...и вряд ли способен бежать быстро.

...но если перекинется...

— Стой, — рявкнул пес. — Ты же не хочешь, чтобы я ее уронил?

Он вытянул руку, повернув так, что видна стала не только макушка. Отродье лежало тихо.

Жива ли? Жива. Бьется нить-волосок, натянулась до предела...

— Не хочешь, — со странным удовлетворением в голосе произнес пес. — Тогда иди сюда.

Ийлэ обернулась на дверь. Что ей до отродья? Она ведь сама желала избавиться от него, и если не смогла оставить в лесу, то дом — другое. Быть может, пес и не станет убивать младенца.

Пугает. Или...

Он хмыкнул и перехватил отродье левой рукой, поднял за ноги.

— Рискни, — сказал он.

Ийлэ оскалилась.

Она уйдет и... и не сможет, потому что оловянные глаза отродья смотрят на нее.

Первый шаг дался с трудом. Колени дрожали. И руки, с трудом удерживавшие кувшин, который сделался большим и неудобным.

— Я тебя не трону. — Пес отвел взгляд, точно ему было противно смотреть на Ийлэ. А может, и противно. Она тощая. И грязная. И воняет от нее не только лесом, но так даже лучше... так спокойней... — Не трону. Клянусь предвечной жилой.

Хорошая клятва.

Вот только Ийлэ больше клятвам не верила. Она сумела сделать три шага, и только.

— Молоко, — удовлетворенно потянул пес, потянув носом. — Но холодное. Ей холодное нельзя, она и так замерзла. Вот там плита. Видишь?

Видит.

Старая, которую растапливали дровами и торфом, и тогда из труб шел черный дым, торф и ныне лежит на прежнем месте, в древней корзине, прикрытой сверху тряпицей... будто ничего не изменилось.

Ложь.

— Не эта. С этой возиться долго. Рядом. На кристаллах. — Пес вздохнул и, положив отродье на ладонь — девочка так и не издала ни звука, — сам шагнул к новехонькой плите. — Посудину найди.

Медные кастрюли остались на прежнем месте, что огромная, в которой кухарка варила похлебку для наемных работников, что крохотная, с изогнутой ручкой, для кофе...

...отец любил пить кофе по утрам. А мама пеняла, дескать, вреден он для сердца...

...сталь вредней.

Медь оказалась холодной и тяжелой, едва ли не тяжелей кувшина.

— Поставь, — велел пес. — И молока налей... слушай, а надо водой разбавлять?

Ийлэ не знала.

В прежней ее жизни она не имела дела с младенцами, поскольку те обретались в детских комнатах, окруженные няньками, кормилицами и гувернантками.

Пес отступил, пропуская Ийлэ к плите, и хотя она подошла очень близко, куда ближе, чем ей хотелось бы, не ударил. Чего ждет? Думает, что она и вправду поверит этой клятве?

Клятвы — это слова. А слова ничего не значат.

Стоит. Дышит тяжело, с присвистом... и кажется, Ийлэ знает, откуда у него шрамы, она даже слышит существо, поселившееся в груди у пса...

— Не думай даже, — спокойно сказал он, отступив еще на шаг. — Убьешь меня — умрешь сама. А ты не хочешь умирать.

Ошибается.

— Никто не хочет умирать. — Пес оперся на стену. — Но иногда приходится. Ты не отвлекайся. Сгорит сейчас.

Налить молоко в кастрюльку, не расплескав, не получилось.

Ийлэ замерла.

Ударит?

Стоит, баюкает отродье...

...а по кухне расползается запах паленого.

...и дверь хлопнула громко, заставив Ийлэ отпрянуть от плиты.

— Тихо. Это свои.

Своих здесь давно не было. Своих закопали на заднем дворе, но не сразу, а когда вонь невыносимой стала...

...Ийлэ помнит.

Лопату, которую ей вручили. Песочные часы. Землю укатанную, твердую... собственную

слабость — она никогда не копала могил. Слезы в глотке. Боль. И удивление. Ей все еще казалось, что все происходит не с ней.

...управишься за полчаса — похороним, а нет — свиньи и падаль сожрут с удовольствием...

...управилась...

...и он выиграл спор, бросив напоследок:

— Главное — правильная мотивация...

Ийлэ заставила себя разжать руку и отступить от плиты. Вонь горелого молока становилась почти невыносимой, а отродье все-таки решило подать признаки жизни, и тонкий, едва слышный писк его ударил ножом по раскаленным нервам.

— Тише, маленькая, — пес провел большим пальцем по темной макушке, — сейчас мы тебя накормим... правда, мамаша? Нат, спускайся уже, хватит прятаться, я все равно тебя услышал...

Псов стало двое, а Ийлэ поняла, что уйти ей не позволят.

Альва.

Исхудавшая до полупрозрачности, грязная, альва. Райдо никогда их не видел, чтобы вот так, близко. Нет, война сталкивала, но там приходилось убивать, а не разглядывать.

Голова пьяная.

Тяжелая.

И мысли в ней бродят хмельные. Не голова — а бочка, та, в которой пиво ставят дозревать, правда, в отличие от бочки, от головы Райдо обществу пользы никакой.

— Ты там это, за молоком приглядывай, чтобы не перегрелось, — он не знал, как разговаривать с этой альвой, чтобы она наконец успокоилась.

Ненавидит.

Точно ненавидит. Чтобы понять это, достаточно в глазищи ее зеленые заглянуть. Они только и остались от лица. И еще скулы острые, того и гляди прорвется кожа. А щеки запали. И губы серыми сделались. Чудом на ногах держится, а туда же — ненавидеть.

Райдо никогда этого понять не мог.

— Райдо. — Нат приближался осторожно.

Умный пацан. Альва-то вся на нервах, чуть чего — и сбежит: лови ее потом под дождем...

— Стой! — велел Райдо, когда альва дернулась и попятилась. — Давай на конюшню. И в город. Доктора сюда притащи.

Вряд ли он, человек степенный, солидный, обрадуется ночной побудке. И прогулка под дождем, как Райдо подозревал, не вызовет энтузиазма, но ничего, ему заплатят. Платит же Райдо за еженедельные бесполезные визиты, во время которых только и слышит, будто ситуация вот-вот стабилизируется.

Смешно. Он того и гляди сдохнет, а они про ситуацию, которая стабилизируется.

— Вам плохо? — поинтересовался Нат.

А в руке нож.

Еще один ненормальный, который не понимает, насколько ненормален. Война закончилась, а он с ножом спит. И ест. И купается, надо полагать, тоже... и привычку эту свою считает полезной.

— Мне хорошо, — сказал и понял, что и вправду хорошо.

Нет, боль не исчезла, она верная, Райдо не бросит, но он сумел ее вытеснить на край сознания. И стоял сам. И младенца держал, боясь уронить, но руки, которые с трудом бутылку поднимали, надо же, не тряслись. Чудо, не иначе.

Чудо лежало на ладони неподвижно и только разевало рот в немом крике, и Райдо было страшно, что оно этим криком надорвется, оно ведь слабое, и малости хватит, чтобы исчезнуть.

— Мне очень хорошо. — Он осторожно провел по мягким пуховым волосикам, которые сваялись и слиплись, но все одно — против всякой логики и реальности пахли молоком. — А вот им плохо.

— Она альва.

— Сам вижу...

...а вот девочка — только наполовину... глаза серо-голубые, и разрез иной, не

альвийский...

— Альва, — с нажимом повторил Нат и клинком в стол ткнул.

Альва, сторбившись, зашипела.

— Нат! — Стой Райдо ближе, отвесил бы мальчишке затрещину.

Воин.

Было бы с кем воевать, она и сама того и гляди сдохнет. Если уйдет — точно сдохнет. А уйти она хочет и осталась лишь потому, что у Райдо — ребенок...

— Альва! — Нат нахмурился. Иногда он проявлял просто-таки невероятное упрямство. — Альве здесь нечего делать.

Ей нечего делать под дождем в осеннем зыбком лесу, который, надо полагать, почти заснул, и поэтому она пришла сюда. Случайно выбрала дом? Или... он ведь принадлежал кому-то раньше, до войны. Райдо старался не думать, кому именно. Трофей. Награда. Королевский подарок, не столько ему — все знают, что ему недолго осталось, — сколько семейству, которое в кои-то веки проявило единодушие и благородно оставило Райдо в покое.

Даже матушка.

А мальчишка не шевелится, замер, уставившись на альву, и нож в руке покачивается, то влево, то вправо... альва же взгляда с клинка не сводит.

Настороженная.

И чем дальше, тем хуже. Напряжение растет, Райдо чувствует его кожей, а надо сказать, что после знакомства с разрыв-цветком его кожа стала просто-таки невероятно чувствительна.

— Нат, — сказал резко, и мальчишка, вздрогнув, оглянулся, — забываешься. Я в доме хозяин. И я решаю, кому здесь место, а кому...

Обиделся. Губы дрогнули, мелькнули клыки, и по щекам побежали серебристые дорожки живого железа, но Нат с обидой справился. И нож убрал за пояс, буркнул:

— Скоро буду.

Не будет.

Во всяком случае, не скоро, потому что не станет Нат ради альвы спешить. Нет, приказ исполнит, но ведь исполнять можно по-разному, и значит, самому нужно что-то делать. Знать бы что...

— Иди уже. — Райдо с трудом сдержался, чтобы не сорваться на крик. — А ты за молоком смотри. Снимай... да осторожно! Тряпку возьми.

Конечно, молоко перегрелось.

— Ложку подай... правда, где лежат, не знаю.

Она, после ухода Ната успокоившаяся — впрочем, спокойствие это было весьма относительным, — ложки нашла в буфете. И пожалуй, она не искала, но точно знала, что они там, в выдвигаемом старом ящике.

— Послушай, — Райдо кое-как присел, надеясь, что так она будет меньше его бояться, — я ведь сказал, что не трону тебя...

Оскалилась только. И ложку положила на стол, руку тотчас отдернула, за спину спрятала. Попятилась. Но не ушла. Хорошо... а Нат мог бы дверь и прикрыть.

— Я понимаю, что у тебя нет причин доверять мне... мы воевали... но если ты здесь, то это не потому, что тебе захотелось забраться в чужой дом.

Дернулась, но промолчала. Она вообще разговаривать способна?

— Полагаю, тебе просто больше некуда идти?

Райдо подул на молоко, которое подернулось толстой пленкой. В детстве он ее ненавидел, как и само кипяченое молоко с медом и топленным маслом, но матушка заставляла пить.

— Некуда. Оставайся.

Не шелохнулась. И не расслабилась. Не поверила этакому щедрому предложению?

Райдо зачерпнул ложечку молока и, поднеся к губам, подул. Попробовал кончиком языка, молоко не было горячим, но и не холодным.

— В этом доме полно свободных комнат. Кладовая, сама видела, полна... да и бедствовать я не бедствую...

Альва оглянулась на окна.

— Дождь. — Райдо приподнял головку младенца и повернул набок. Молоко он вливал по капле, а оно все одно растекалось, что по губам найденьша, что по подбородку. — Ты ж там была... думаю, долго была... пока лес не уснул, да? И если уйдешь, то сдохнешь. Или от голода, или замерзнешь насмерть. До заморозков сколько осталось? Неделя? Две?

Точеные ноздри раздувались.

Но альва молчала.

— Нет, если тебе охота помереть, то я держать не стану. — Младенец часто сглатывал, и Райдо очень надеялся, что глотает он молоко и что это молоко будет ему не во вред. — В конце концов, это личное дело каждого, какой смертью подышать, но ребенка я тебе не отдам.

Оскалилась.

Зубы белые, клыки длинные, острые. И вот после этого находятся идиоты, которые утверждают, будто бы альвы мяса не едят. С такими вот клыками только на спаржу и охотиться.

— Кстати, как зовут-то...

Альва склонила голову набок.

— Ну... не хочешь говорить, и не надо, мы сами как-нибудь... — и Райдо решительно повернулся к альве спиной.

Не уйдет.

А если вдруг хватит глупости, то...

...ей или в город, или в лес...

...и даже под дождем след пару часов держится, а пары часов хватит, чтобы ее найти...

...правда, Райдо не уверен, что сумеет, он давненько не оборачивался, но Натгу такое точно не поручишь... и все-таки хорошо бы, чтобы у этой упрямыцы хватило мозгов остаться.

— Вот так, маленькая... еще ложечку... за мамашу твою безголовую... и еще одну... а ты, к слову, сама поела бы... только не переусердствуй. Нет, мне не жаль, но живот скрутит...

...скрутило.

От колбасы. От собственного нетерпения, которое заставило эту колбасу глотать не пережевывая. И теперь она осела тяжелым комом в желудке, а сам этот желудок, давно отвыкший от нормальной еды, сводила судорога.

Рот наполнился кислой слюной. Ийлэ сглатывала ее, но слюны становилось больше, и она стекала с губ слюдяными нитями.

Она, должно быть, выглядела жалко.

И плевать.



Пес спиной повернулся. Широкой, разодранной ранами, расшитой рубцами, которые словно линии на карте... границы... и под этими границами из плоти обретаются нити разрыв-цветка.

Если позвать... он слышит Ийлэ, а у нее хватит сил. И наверное, даже в удовольствие будет смотреть, как этот пес будет корчиться в агонии. Правда, тот, второй, который молодой и с ножом, отомстит. У него, пожалуй, хватит сил пройти по следу...

Убивать нет нужды. Он сдохнет и сам, если не сейчас, то через месяц... через два... или через три. Зима убаюкает разрыв-цветы и, быть может, подарит надежду псу, что это — навсегда. Или он знает?

Ийлэ сглотнула слюну.

Бежать? Пока он не смотрит, занят с отродьем, пытается накормить, а та глотает коровье молоко, но этого мало... еще бы неделю тому — хватило бы что молока, что тепла.

На этой глубокой мысли Ийлэ вывернуло. Ее рвало кусками непереваренной колбасы и слизью, тяжело, обильно, и она с трудом удерживалась на ногах, жалея лишь об одном, — колбаса пропала.

— Когда долго голодаешь, а потом дорываешься вдруг до еды, — сказал пес, но оборачиваться не стал, — то возникает искушение нажраться наконец от пуза. И многие нажираются, только вот потом кишки сводит.

Он говорил это так, будто ему случалось голодать.

— Тебе бульон нужен. И сухарики. Про сухари не знаю, но бульон где-то должен быть. Глянь в погребе...

Обойдется Ийлэ и без бульона, и без его щедрого предложения, которое на самом деле вовсе не щедро, а всего лишь приманка.

— Не переводи гордость в дурость. — Пес кинул ложечку на стол и отродье поднял, положил на плечо, прижав спинку широкой ладонью.

А он умный, значит?

Умный.

Смотрит. Усмехается, переступает с ноги на ногу... и девочка, закрыв глаза, молчит, но нить ее жизни стала толще, пусть и ненамного.

— И мешок свой брось. Если хочешь уйти, уходи так, как пришла, — жестко добавил пес.

Ветер распахнул окно, впуская холод и дождь.

Уйти.

Ийлэ уйдет. Потом. Когда у нее появятся силы, чтобы сделать десяток шагов... например завтра. И пес странно усмехнулся:

— Вот и ладно. Комнату сама себе выберешь.

И от этой неслыханной щедрости Ийлэ рассмеялась, она смеялась долго, содрогаясь всем телом, не то от смеха, не то от холода, который поселился внутри и рождал судорогу. Она захлебывалась слюной и слизью и голову держала обеими руками, потому что стоит руки разжать — и голова эта оторвется, полетит по кухонному надраенному полу, на котором уже отпечатались влажные следы...

А потом пол покачнулся, выворачиваясь из-под ног.

Дом снова предал Ийлэ.

Но ничего, к этому она привыкла...

...когда альва упала, Райдо испугался.

Он не представлял, что ему делать дальше, потому как и сам держался на ногах с трудом, не из-за болезни, но из-за виски, которое сделало его слабым. Неуклюжим. И думать мешало. Райдо отчаянно пытался сообразить, что ему делать, но в голове шумело.

— Бестолковая у тебя мамаша, — сказал он младенцу, который, кажется, уснул.

И ладно.

Младенца Райдо положил сначала на стол, а потом в плетеную корзину, где кухарка хранила полотенца. Свежие, накрахмаленные, вкусно пахнущие чистотой, они показались вполне себе пригодными для того, чтобы завернуть в них малышку.

Так оно теплее будет.

— Сначала разберусь с ней, — Райдо указал пальцем на лежащую альву, — а потом и тобой займусь.

Глядишь, там и доктор явится.

Альва дышала. И пульс на шее удалось нащупать. Райдо не без труда опустился на пол и похлопал альву по щекам.

Не помогло.

— А воняет от тебя изрядно, — заметил он.

Вблизи альва выглядела еще более жалко: непонятно, в чем душа держится.

— Я сюда, между прочим, приехал, чтоб помереть в тихой и приятной обстановке, а не затем, чтобы девиц всяких спасать... если хочешь знать, мне девицы ныне мало интересны.

Лохмотья ее промокли, пропитались не то грязью, не то слизью. Короткие волосы слиплись, и Райдо не был уверен, что их получится отмыть, что ее всю получится отмыть.

Вытянув руку, он нащупал кувшин с молоком, оказавшийся тяжеленным.

— Может, все-таки сама глаза откроешь? — поинтересовался Райдо, прежде чем опрокинуть кувшин на альву. Молоко растеклось по ее лицу, по шее, впиталось в лохмотья и по полу разлилось белой лужей.

Альва не шелохнулась.

— Нда. — Кувшин Райдо сунул под стол, подозревая, что ни экономка, ни кухарка этакому его самоуправству не обрадуются.

А и плевать.

— Плевать, — повторил он, подсовывая ладонь под голову альвы.

Прежде-то Райдо веса ее ничтожного не заметил бы, а сейчас самому бы подняться, он же с альвою... упадет — раздавит к жиле предвечной.

Не упал. Не раздавил.

И даже, пока нес к дверям, не сильно покачивался. А у дверей столкнулся с Дайной.

— Райдо! — воскликнула она, едва не выпустив из рук внушительного вида топор, кажется, им на заднем дворе дрова кололи. — Это... вы?

— Это я, — с чувством глубокого удовлетворения ответил Райдо и альву перекинул на плечо. Если на плече, то рука свободна и корзину захватить можно. Жаль, что сразу об этом не подумал... корзину с младенцем на кухне оставлять никак нельзя.

— А... что вы делаете? — Дайна, кажется, растерялась.

Смешная.

В этой рубашке белой с кружавчиками, в ночном чепце, тоже с кружавчиками, в стеганых тапочках, правда, не с кружавчиками, но с опушкой из кроличьего меха.

И с топором.

— Женщину несусь, — со всей ответственностью заявил Райдо, придерживая эту самую женщину, которая так и норовила с плеча сползти.

— К-куда?

— Наверх. Возьми корзинку.

Райдо палец вытянул, показывая ту самую корзину, которую надлежало взять. И добавил:

— Только тихо. Ребенок спит.

Дайна не шелохнулась.

Она переводила взгляд с Райдо, который под этим самым взглядом чувствовал себя неуютно, хотя, видит жила, ничего дурного не делал, на корзинку.

С корзинки — на приоткрытое окно.

И снова на Райдо.

Лицо женщины менялось. Оно было очень выразительным, это лицо. Прехорошеньким. Она сама, почтенная вдова двадцати двух лет от роду, была прехорошенькой, круглой и мягкой, уютной, что пуховая подушка. И пожалуй, не отказалась бы, ежели бы у Райдо появилось желание на эту подушку прилечь.

Желания не было: в пуху он задышался...

— Вы... вы собираетесь... ее в доме оставить? — В голосе Дайны прорезалось... удивление?

Раздражение?

Райдо не разобрал, выпил много.

— Собираюсь, — ответил он.

— В доме?

— Ну не на конюшне же!

Розовые губки поджалась. Кажется, Дайна полагала, будто на конюшне альве будет самое место.

— Корзинку возьми. — Эта злость была иррациональной. На Райдо порой накатывало, от выпитого ли, от боли, которая выматывала душу, не суть, главное, что порой в этой самой душе поднималась волна черной злобы.

К примеру, на Дайну. К корзине она приближалась бочком, точно младенец этот способен ее обидеть. И за ручку брала двумя пальчиками...

— Уронишь, сама на конюшню жить пойдешь. — Райдо повернулся спиной к экономке. Быть может, если он не будет на нее смотреть, то злость исчезнет.

— Вы... вы несправедливы, — всхлипнула Дайна, и Райдо ощутил укол совести.

И вправду несправедлив.

Он вообще порой редкостная скотина, но тут ничего не поделаешь — характер. А Дайна... Дайна досталась ему с этой растреклятою усадьбой. Супруг ее был управляющим. Кажется. Она точно говорила, кем он был, и вздыхала, сожалея, что брак ее не продлился и год... и еще что-то такое рассказывала.

Сейчас Дайна молчала, и молчания ее хватило до второго этажа: странно, но по лестнице Райдо поднялся без особого труда. Дверь открыл первую попавшуюся и пинком, потому как руки было страшно от стены оторвать.

— Вы... вы не можете оставить ее здесь, — произнесла Дайна, поставив корзинку с младенцем на пороге.

— Почему?

— Что скажут соседи?

Райдо сбросил альву на кровать и только потом ответил:

— А какое мне, хрысь тебя задери, дело до того, что скажут соседи? Принеси бульона.

Надо эту, обморочную, напоить.

— Он для вас!

— Обойдусь.

— Он холодный...

— Подогреешь. — Райдо заставил себя выдохнуть и очень тихо, спокойно произнес: —

Дайна, пожалуйста... принеси бульона.

К счастью, дальше спорить Дайна не стала.

Доктор явился незадолго до рассвета.

Сняв плащ, промокший насквозь, он передал его в руки Дайны.

— Доброй ночи, — вежливо поздоровался доктор.

С него текло.

Редкие мокрые волосы прилипли к лысине, и воротничок рубашки, пропитавшись влагой, сделался серым, а серый костюм — и вовсе черным. И доктор смахивал воду с лица ладонями и волосы норовил отжать, отчего те топорщились.

Рыжие.

Раньше Райдо не обращал внимания, что волосы у его доктора ярко-рыжие, какого-то неестественного, морковного оттенка, совершенно несерьезного.

И веснушки на носу.

И яркие синие глаза. Уши оттопыренные, покрасневшие от холода. И как человек с оттопыренными ушами может что-то в медицине понимать?

— Я вижу, вам намного лучше, — и голос неприятный, высокий, режущий. От него у Райдо в ушах звенеть начинает.

Или не от голоса, но от виски? А ведь Райдо так и не нашел бутылку... зря не нашел, глядишь, и легче было бы.

Нат держался сзади, глядя на доктора с непонятным раздражением.

— Намного, — согласился Райдо и ущипнул себя за ухо.

Детская привычка. Помнится, матушку она безумно раздражала, хотя ее, кажется, все привычки Райдо безумно раздражали, но что поделать, если ему так думается легче?

— Я рад.

Доктор держал в руках черный кофр, сам вид которого был Райдо неприятен.

— В таком случае, быть может, вы соизволите пояснить, какое срочное дело вынудило этого... в высшей степени приятного молодого человека заявиться в мой дом? Вытащить меня из постели и еще угрожать.

— Нат угрожал?

Дайна подала доктору полотенце, которым тот воспользовался, чтобы промокнуть и лысину, и волосы.

— Представляете, заявил, что если я не соберусь, то он меня доставит в том виде, в котором я, уж простите, пребывал... потрясающая бесцеремонность!

— Нат раскаивается, — не слишком уверенно сказал Райдо.

И доктор величественно кивнул, принимая этакое извинение.

Нат, фыркнув, отвернулся.

А сам-то вымок от макушки до пят, и, что характерно, пятки эти босые. Стоит в домашних штанах, в рубашке одной, которая ныне к телу прилипла. Тело это тощее, пощелячи неуклюжее, с ребрами торчащими, с впалым животом и чрезмерно длинными руками и ногами, с рябой шелушащейся кожей. И надо бы сказать, чтоб переоделся, но Райдо промолчит. Хочется Нату геройствовать, по осеннему дождю едва ли не голышом разгуливая? Пускай. Дождь — не самое страшное... дождь, если разобраться, вовсе ерунда.

А Дайна чаю ему заварит, с малиновым вареньем.

Все награда.

— Так что у вас случилось? — не скрывая раздражения, произнес доктор.

И Райдо очнулся. О чем он, бестолковый пьянчужка, думает?

— Случилось. Ребенок умирает.

Рыжие брови приподнялись, выражая, должно быть, удивление. А и вправду, откуда в этом яблоневом предсмертном раю ребенку взяться? И Райдо велел:

— Идем.

Малышка уже не спала.

Она лежала тихонько в той же корзине, и Райдо подумалось, что следовало бы найти для нее иное, более подходящее для младенца, пристанище. И пеленки, чтобы белые и с кружевом, вроде тех, в которые племянников кутали.

— Не выживет, — сказал доктор, развернув рубашку. И брался за нее двумя пальцами, точно ему было противно прикасаться или к этой рубашке, или к младенцу.

Руку отнял, пальцы платочком вытер.

— Что? — Райдо показалось, что он ослышался.

Как не выживет? Он ведь молоком напоил. И еще напоит, но не сразу, чтобы ей плохо не стало. И завернул вот в рубашку, а еще полотенцами накрыл... и, быть может, Дайна отыщет одеяльце... или что там еще надо, чтобы детенышу было тепло.

— Не выживет, — спокойно, равнодушно даже повторил доктор, складывая свой платочек. И в этот момент он выглядел предельно сосредоточенным, словно бы в мире не было занятия важнее, чем этот треклятый платочек, каковой следовало сложить непременно треугольничком. — Крайняя степень истощения. Я вообще удивлен, что она дышит...

Он наклонился, поднял кофр, поставив его рядом с корзиной, и Райдо стиснул кулаки, до того неприятным, неправильным показалось такое соседство. В кофре в сафьяновом футляре хранятся инструменты, хищная сталь, которая причиняет боль едва ли не большую, чем разрыв-цветы. Есть там и склянки с едкими дезинфицирующими растворами, и заветная бутылка опиумного забвения, которое ему настоятельно рекомендуют.

Ее-то доктор и извлек.

— Единственное, что в моих силах, — сказал он, зубами вытащив пробку, — это облегчить ее страдания...

Страдающей малышка не выглядела.

Лежала себе тихонько, шевелила губенками, и по щеке сползала нить беловатой слюны... и Райдо вспомнил, что детей надо класть на бок, чтобы они, если срыгнут, не подавились.

— Несколько капель, и она уснет...

— Идите в жопу. — Райдо провел пальцем по макушке.

Надо будет искупать ее, а то не дело это, чтобы ребенок грязным был. Только он не

очень хорошо помнит, как это делается. Вроде бы травы нужны, а какие именно?

И если этих трав он не найдет, то можно ли без них?

И воду еще локтем проверяют, потому что пальцем — неправильно, правда, в чем неправильность, Райдо не знает.

— Простите? — Доктор замер со склянкой в одной руке и с ложечкой, которую с готовностью подала Дайна, в другой.

И Дайна замерла, приоткрыв рот, должно быть от возмущения.

Нат, который молчаливым призраком устроился на пороге — а переодеться не удосужился, — беззвучно хохотал.

— В жопу идите, — охотно повторил Райдо и малышку из корзины вытащил.

Умрет? Ничего. Ему тоже говорили, что он умрет. Еще тогда, на поле... и потом, в госпитале королевском, где полосовали, вытаскивая зеленые побеги разрыв-цветка. В королевском-то госпитале никто не стремился быть тактичным, здраво полагая, что пользы от такта нет. И тамошний врач, седенький, сухонький, весь какой-то мелкий, но лишенный суетливости, честно заявил, глядя Райдо в глаза, что шансов у него нет.

Два месяца дал.

А Райдо уже четыре протянул.

И зима скоро. Зиму он точно переживет, и значит, на хрен всех докторов с их прогнозами.

— Простите. — Доктор оскорбленно поджал губы, и щеки его обвисли, и сам он сделался похожим на толстого карпа, каковых приносили на матушкину кухню живыми, замотавши во влажные полотенца. Карпы лежали на леднике, разевали пасти, и губы их толстые были точь-в-точь такими же кривыми, некрасивыми. А глаза — стеклянными.

Правда, свой доктор прячет за очками, круглыми, на проволочных дужках.

— Позвольте узнать, сколько вы сегодня выпили? — Его голос звенел от гнева, но ведь духу высказаться в лицо не хватит.

— Много, — честно ответил Райдо.

И малышку прижал к плечу.

Становилось легче. Парадоксально, то, что сидело внутри его, никуда не исчезло. И боль не исчезла. И разрыв-цветок, который продолжал расти, проталкивая под кожей тонкие плети побегов. Райдо чувствовал их, но больше это не казалось таким уж важным.

Не настолько важным, чтобы напиться.

— Вы не отдаете себе отчета в том, что происходит.

— Охренеть.

— Вот именно. — Доктор резким движением вбил пробку в бутыль. — Как вы изволили выразиться, охренеть... меня вытаскивают среди ночи из постели, угрожают...

Бутыль исчезла в кофре, который захлопнулся с резким щелчком.

— Тащат под дождем за пару миль, а когда я пытаюсь исполнить свой долг, то посылают В...

— В жопу, — подсказал Райдо, не из желания позлить этого, доведенного до края человека, но исключительно для точности изложения.

— Именно. — Доктор выпрямился. — Вы пьяны и неадекватны. А ребенок... он уже мертв, даже если выглядит живым.

— Посмотрим.

Тельце под ладонью Райдо было очень даже живым.

— О да... ваше упрямство... оно, быть может, помогает держаться вам, но дайте себе труда подумать, как это самое упрямство спасет вот ее... — доктор вытянул дрожащий палец, — от крайней степени истощения... или от переохлаждения... от бронхита, пневмонии...

Каждое слово он сопровождал тычком, благо не в младенца, но в ладонь Райдо.

— Как-нибудь.

— Как-нибудь... это пресловутое как-нибудь... вы продлеваете ее агонию...

Он вдруг резко выдохнул и сник, разом растеряв и гнев и возмущение.

— Поймите, я не желаю ей зла. Я просто понимаю, что шансов нет. Как бы вам этого ни хотелось, но нет. И в конце концов, что вам за дело до этого ребенка?

Станный вопрос. А человек смотрит поверх своих очочков дурацких и ждет ответа, точно откровения.

— Это мой ребенок. — Райдо погладил малышку.

Надо будет имя придумать. Правда, матушка в жизни не доверила бы ему столь ответственное дело, как выбор имени, но матушки здесь нет. А ребенок есть. Безымянный.

Нет, может статься, что альва его уже назвала, но... когда она еще заговорит. И заговорит ли вообще.

— Ваш?! — Рыжие брови доктора поползли вверх, и на лбу этом появились складочки.

Веснушчатые.

— Мой, — уверенно заявил Райдо. — Я его нашел.

Кажется, его все-таки сочли ненормальным.

И плевать.

Доктор снял очки и долго, как-то очень старательно полировал стеклышки все тем же платочком, который недавно столь аккуратно складывал.

Без очков он выглядел жалким.

И несчастным.

И подслеповато щурился, смотрел куда-то за спину... Райдо обернулся. Надо же, альва объявилась, стоит, вцепившись обеими руками в косяк, и скалится... угрожает.

Кому?

— Молоко лучше давать козье. Если с животом начнутся нелады, то к молоку добавлять отвар льняного семени. Я оставлю... и укропную воду, по несколько капель... рыбий жир опять же... главное, кормить понемногу, но часто... и днем и ночью...

Он говорил быстро, запинаясь.

И на альву не смотрел. Очень старательно не смотрел.

И выходил из комнаты пятясь.

И стеклышки все тер и тер, тер и тер, едва на Ната, устроившегося за порогом, не наступил. А заметив, шарахнулся в сторону, прижался к стене.

Очки нацепил. Вздохнул.

И пошел, за стену держась, заслоняясь кофром своим...

— Эй, доктор, — Райдо проводил его до лестницы, — звать-то ее как?

— Ийлэ...

Красивое имя. Альвийское.

— Ничего, — пообещал Райдо малышке шепотом, — у тебя будет не хуже...

Утро.

Дождь прекратился. И солнце, подобравшись с востока, плеснуло светом, разлило белые пятна на паркете. Ийлэ потрогала их.

Теплые. Дерево ласковое, старое.

Надо же, а ей казалось, что дом сторит дотла.

Ошиблась.

Живой, почти как прежде. И паркет вот не пострадал, а обои переклеили и явно наспех, потому выбрали дешевые из плотной рыхлой бумаги. Белое поле, зеленые птицы скачут по зеленым же веткам, и кажется, будто ветки эти, изгибаясь причудливым образом, норуют птиц поймать. А те выскользывают.

Ийлэ и обои потрогала. Холодные.

Подоконник тоже. Рамы в этом крыле еще отец менять собирался, потому что дерево рассохлось и зимой сквозило. До зимы есть еще время, но холодом тянет по пальцам.

Странно. Она жива. И в доме. Сидит на полу. Осматривается...

Доктор приходил. Ему Ийлэ не верит, он предал тогда... человек... чего еще ждать от человека?

Опиум.

Он и ей совал тогда, уверяя, что с опиумом будет легче... тоже лгал... никому нельзя верить, а особенно — осеннему солнцу и непривычному, подзабытому уже ощущению покоя.

Ийлэ поднялась.

В ванной стены были теплыми, и значит, работал старый котел. Или уже новый? Но главное, из крана шла горячая вода, и, сунув ладони под струю, Ийлэ со странным удовлетворением смотрела, как краснеет кожа.

Струя разбивалась о стенки ванны, тоже знакомой — еще один осколок прошлой ее жизни, — и наполняла ее.

А если Ийлэ в доме, то почему бы и не помыться?

Она не мылась... давно, с тех пор как вода в ручье сделалась слишком холодна для купания, а на поверхности озерца стал появляться лед. Тонкая пленка, которая таяла от прикосновения, обжигая.

— Сваришься, — раздался сзади недовольный голос.

Пес?

Ийлэ замерла. Нельзя оборачиваться. Ударит.

Если не обернется, тоже ударит, но тогда Ийлэ не увидит замаха, не сумеет подготовиться.

Она все-таки обернулась.

Стоит в дверях, загораживая собой весь проем. Белая рубашка, домашние штаны... и босой... ступни огромные, некрасивые, с темными когтями.

— Я... подумал, что тебе... вот, — он наклонялся медленно, осторожно, и видно было, что движение причиняет ему боль, — ...переодеться... правда, не уверен, что подойдет... я прикинул, что если Дайны шмотье, то тебе точно большое будет. Да и она не особо горит желанием делиться...

Пес положил на пол стопку одежды.



— А вот Натово — так, глядишь, и впору... старое, конечно... он вырос уже... я вообще фигею с того, как быстро он растет... вот что значит нормально жрать стал. Детям вообще важно нормально жрать...

Судя по его размерам, в детстве пес питался вполне прилично.

Ийлэ головой тряхнула: что за чушь он несет?

Главное, не ударил. И отступил. И теперь, даже если захочет, то не дотянется.

— Слушай, — он ущипнул себя за мочку уха, — я тут думал... раз ты со мной говорить не хочешь, то... ребенку без имени нельзя. А если назвать Броннуин?

Как?

Нет, об имени для отродья Ийлэ не думала. Зачем имя тому, кто рано или поздно издохнет, но... Броннуин?

— Не нравится, — вздохнул пес. — Кстати, меня Райдо кличут... если тебе, конечно, интересно.

Нисколько.

Ийлэ... она задержалась в доме лишь потому... чтобы помыться... она ведь не мылась целую вечность, и воняет от нее зверски, и если еще одежду сменить на чистую, пусть старую, но не влажную, не заросшую грязью...

— Послушай... — Пес не ушел, но и приблизиться не пытался, он сел на пол, ноги скрестил, и босые ступни изогнулись, а Ийлэ увидела, что и на ступнях у него шрамы имеются, но старые, не от разрыв-цветка. Она смотрела на эти шрамы, чтобы не смотреть в глаза.

Псы ненавидят прямые взгляды.

— Послушай, — повторил он, — была война... случилось... всякое... но война закончилась и...

Он замолчал и снова себя за ухо ущипнул.

— Никто тебя не тронет. Здесь безопасно, понимаешь?

Ложь. Нигде не безопасно.

— Не веришь? Ну... да, у тебя, похоже, нет причин мне верить, просто... не спеши уходить. Уйти всегда успеешь, держать не стану... но вот... в общем, я малышку покормил. Спит она. Ест и спит. А идиоту этому не верь, выживет...

Доктор не идиот, он человек, который вовремя сообразил, как правильно себя вести, оттого и цел остался и семейство его уцелело, супруга, что часто заглядывала на чай и притворялась маминой подругой, дочери. Мирра, надо полагать, сохранила любовь к муслиновым платьям в мелкий цветочек и привычку говорить медленно, растягивая слова. А Нира... Ниру Ийлэ и не помнила. Что с ней стало?

Не важно, главное, что они, и доктор, и все его семейство, остались в той, нормальной жизни, которая Ийлэ недоступна.

Она не завидует, нет. И она понимает, что доктор — не дурак. Сволочь просто.

Пес молчал, смотрел с прищуром, внимательно, но во взгляде его не было того ожидания, которое являлось верным признаком новой боли.

— Ясно... значит, Броннуин тебе не нравится?

Ийлэ пожала плечами: в сущности, какая разница?

— Не нравится... а Хильмдергард?

Ийлэ фыркнула.

— Да, пожалуй... но я еще подумаю, ладно?

Убрался.

И дверь за собой прикрыл. Ийлэ выждала несколько минут и, на цыпочках подобравшись к двери, заглянула в замочную скважину.

Комната была пуста.

Это ничего не значит. И она, задвинув щеколду, подперла дверь стулом.

Мылась быстро, в той же горячей, опаляющей воде, в которой грязь сходила хлопьями, а кожа обретала красный вареный цвет. А потом, выбравшись из ванны, обсыхала, нюхая собственные руки, потемневшие, загрузевшие.

Мама говорила, что руки — визитная карточка леди...

Хорошо, что мама умерла.

Нет, тогда Ийлэ казалось, что плохо, что невозможно с этой смертью смириться и что не бывает ничего, хуже смерти... она еще умела плакать и плакала. А потом поняла: ошибалась.

Смерть — это порой благословение, особенно если быстрая.

Одежда оказалась великовата и пахла неуловимо щелочным мылом и еще лавандой, которой, надо полагать, переложили ее, от моли спасаясь.

...мама сушила лаванду на чердаке и собирала ломкие стебли, перевязывала их ленточкой. Мешочки шила из тонкого сукна. Аккуратными выходили, изящными даже. Синие — для лаванды. Красные — для розы, для ромашки — желтые, и белые еще были, в которые прятали гвоздичный корень.

Надо выходить.

Пес говорил, что не тронет, но лгал. Ийлэ не в обиде, она точно знает, что все лгут, а милосердия от врага ждать — глупость. Но и злить его нарочно не следует. И, пригладив волосы — гребня не нашлось, — Ийлэ осторожно выглянула из ванной комнаты.

Спальня была пуста.

И коридор. И не высовываться бы из комнаты, раз уж Ийлэ подарили несколько минут одиночества, но только тонкая нить жизни отродья натянулась, звенит. Если идти по нити... мимо дверей — новые поставили, а шпалеры, которыми стены укрыты, прежние... и пол... а ковровой дорожки нет. Наверное, ее на чердаке спрятали... вместе с маминым ломберным столиком и креслом-качалкой, с сундуками, куда складывали старые наряды Ийлэ и кукол ее...

...на чердаке ее искать не станут...

...и если тихо...

На цыпочках...

Только сначала отродье забрать. Если пес позволит.

Положив ладонь на дверь из старого темного дуба, Ийлэ решительно толкнула ее.

Пусто.

Нет.

Пахнет... болезнью пахнет. Опиумом. Виски. И последний запах, предупреждающий, заставляет ее пятиться, сжиматься в комок, и сердце колотится.

Уходить.

Немедленно, пока он... он ведь вышел ненадолго и скоро вернется, и тогда...

Корзина стояла на столе рядом с вазой, в которой умирали поздние астры. До нее всего-то два шага, она успеет вытащить отродье и спрятаться на чердаке.

Вдвоем.

Ийлэ укусила себя за руку, и боль помогла сделать первый шаг. Протяжно заскрипел

пол... здесь паркет новый, свежий и из дрянной доски, которая не высохла, оттого и гуляет.

Выдает.

Ничего.

Никого. Только запах болезни, гноя и крови. Только комната грязная. Пустые бутылки. Много пустых бутылок. Гардины из дешевой ткани, темной в крупные белые розы, которые как-то совсем уж с псом не увязываются. Гардины сомкнуты плотно, но свет пробивается, ложится узкой полоской на пол.

Ковер.

Пыль под кроватью. У кровати. Столик и медный таз с водой. Ночной горшок, перевернутый кверху дном. Странно, что пес его вовсе не вышвырнул. Полотенца влажной грудой. Грязные.

И рубашка, что скомкана, брошена на кресло, тоже нечиста.

Сапоги... левый почти исчез под покрывалом, правый стоял на столе рядом с корзиной. Там же Ийлэ обнаружила и высокую кружку с остывшим бульоном. Воровато оглянувшись, она сделала глоток.

Сладкий.

И крепкий. Сваренный на мозговых косточках, он оставил на языке и нёбе жирную пленку, а желудок заурчал, требуя добавки. Ему было мало глотка.

Пес разозлится, но он и так разозлится, поняв, что в комнате его побывали, а на сытый желудок чужую злость переносить легче. Ийлэ схватила погрызенную корку хлеба, которая, верно, лежала не первый день и зачерствела до сухости. Корку она спрятала в кармане, а кружку осушила в два глотка.

При более пристальном изучении комнаты под столом обнаружилась полоска вяленого мяса и булочка с корицей, правда закаменевшая, но если размочить в воде... булочку Ийлэ убрала во второй карман. А вот отродье из корзины вытаскивать не стала: в корзине нести удобней.

И теплее будет, под шалью-то...

Из комнаты она выходила на цыпочках, крадучись. До заветной лестницы, на чердак ведущей, оставалось полтора десятка шагов.

Альва шла, держась стены, двигаясь бесшумно, и выглядела настороженной.

Не поверила, что безопасно?

И сам бы Райдо не поверил. Главное, что осталась, а там, глядишь, поживет пару дней, успокоится немного. Присмотрится.

Он убрал ладонь, которой закрывал Нату рот, и тот, вывернувшись, уставился возмущенно.

— Что? — Райдо это возмущение веселило.

Щенок. Задиристый, отчаянно пытающийся выглядеть взрослым, а все одно щенок.

— Она... она...

— Она взяла лишь то, что принадлежит ей. — Райдо выглянул в коридор, убеждаясь, что альва ушла. — Не веришь? Идем.

В комнате царил обычный беспорядок, который еще недавно казался Райдо нормальным, уютным даже, а ныне вдруг стало стыдно.

Немного.

— Ну? Видишь? — Райдо обвел комнату рукой. — Моими сокровищами она

побрезговала.

Уточнять, что тех сокровищ — полторы бутылки виски и почти новые носки, которые Райдо хранил на всякий случай, — он не стал.

— Она... она...

— Что?

— Она альва!

— Я заметил.

Нат стиснул кулаки. И оттопыренная нижняя губа задрожала, выдавая возмущение.

— Садись. — Райдо толкнул щенка, и тот, не устояв на ногах, шлепнулся в кресло. —

Давай откровенно. Чего ты хочешь?

— Чтоб она сдохла.

— Замечательно. У тебя вроде нож имеется. Иди и убей.

— Что? — Нат, который явно был настроен долго и нудно доказывать свою правоту, растерялся.

— Разрешаю. — Райдо сел на кровать и поморщился.

От простыней воняло. И от одеяла. И от подушек, причем, кажется, сильнее всего кислым, рвотным, а вроде его не рвало. Нет, в тот раз, когда рвало, он до унитаза добрался, из принципа проигнорировав ночной горшок...

...цветочки в него поставить, что ли?

— К-как разрешаешь? — Брови Ната приподнялись.

— Обыкновенно. Берешь нож. Поднимаешься на чердак и убиваешь.

Сидит. Смотрит. Глаза по-совиному круглые, и в них Райдо видится недоумение.

— Ну что выпялился? Убивать ты умеешь, это я знаю точно. А если конкретный совет, то бей в сердце, чтоб не мучилась, и крови меньше будет, потому как убираться после сам станешь.

Подушку Райдо отправил на пол и пинком послал в угол комнаты.

Что за хрень?

Он, милостью Короля, хозяин в этом треклятом доме, а хозяйская комната больше свинарник напоминает. Дайна сюда не заглядывает, а Нат... Нат не уборщица, хотя он и пытается, но видать, попыток его недостаточно.

— Убить?

— Убить, убить, — повторил Райдо, скинув и одеяло, которое было влажным, неприятным. — Заодно и младенца... вон подушку возьми.

— 3-зачем?

— Ну... она мелкая, резать несподручно будет. А вот подушкой накроешь, придавишь слегка, и все...

— Я?

— А кто?

— Мне пойти и...

Нат нахмурился.

Интересно, он улыбаться умеет? Раньше, до войны, небось умел, а теперь разучился. И Райдо понятия не имеет, как его научить, чему научить. Он вообще учитель на редкость дерьмовый, с такого пример брать — себе дороже выйдет. А Нат берет.

Упрямый.

И сейчас сгорбился, нахохлился. Волосы на макушке дыбом торчат. Дайна жалуется,

что Нат совершенно невозможен, хамит, грубит и беспорядки учиняет. Но оно и верно, детям положено беспорядки учинять, а Нат — ребенок, пусть самому себе охрысенно взрослым кажется.

— Тебе. — Райдо поднял бутылку, в которой виски оставалось на треть. И появилось почти непреодолимое желание к этой бутылке приложиться.

Легче станет.

Ему ведь больно, и он устал от боли, от самой этой жизни, которая — война. И отвоевывать минуту за минутой, час за часом... на кой ляд? Напиться и уснуть.

Он заставил себя разжать пальцы, и бутылка упала на грязный ковер.

— Я... — Нат смотрел, как по этому ковру растекается лужа. — Я... не хочу ее убивать. Она ведь женщина... и младенец... и...

— То есть ты хочешь, чтобы их убил я? — Райдо пнул бутылку, жалея, что не вышвырнул в окно. Запах дразнил, заглушая иные — гноя, крови и слизи, которая сочилась из лопнувшего рубца. И надо бы рубашку снять, вытереть эту слизь, зачистить рану, прижечь, перебинтовать...

Позже. Нет в этих действиях никакого смысла.

— Н-нет, — ответил Нат, отводя взгляд. — Я... не хочу, чтобы вы их убивали.

— Замечательно. Тогда что?

— Пусть уйдет.

— Куда?

— Не знаю. Куда-нибудь.

— Окно открой.

— Что?

— Нат, ты вроде на слух не жаловался. Окно, говорю, открой.

К капризам Райдо — а он порой сам себя бесил этими капризами — Нат привык. И, сунув нож в сапог, он спокойно подошел к окну, гардины раздвинул, чихнул — пыли в них набралось, и сами эти гардины идиотские какие-то, в цветочек. Кто их только выбирал? А подоконник серый от грязи, отскоблить которую получится разве что с краской. Раму заело. Нат долго возился с ручкой, дергал то вверх, то вниз, но справился, открыл. И из окна пахло холодом, сыростью, ветром, что принес запахи леса, пусть бы сие было и невозможно: слишком далек этот лес, недостижим практически.

— Что видишь? — Райдо поднялся.

Вставать было безумно тяжело, кровать держала. Манила. Говорила, что он, Райдо, болен, что он почти уже умер, а умирающие ведут себя соответствующим образом, лежат смиренно в кроватях и позволяют близким окружать их заботой и вниманием.

Хрена с два.

Потом, когда он, Райдо, в гроб ляжет, пусть окружают, а пока... до окна — пять шагов, а за окном — целый мир. И яблони видать, те самые, из-за которых долину Яблоневою назвали. Говорят, весной здесь красиво. Если постараться и дотянуть до весны, чтобы увидеть... а почему бы и нет?

— Поле вижу, — буркнул Нат, разрушая красоту почти оформившейся мечты. — Дорогу вижу. Еще яблони.

Он закрыл глаза и втянул воздух, крылья носа дрогнули.

— Мясо коптят... недалеко... вкусно...

— Мясо — это да, это всегда вкусно... значит, дорогу видишь?

— Ну вижу.

— И как она тебе?

— В смысле?

— В смысле прогуляться... скажем, до города... пешком...

Нат плечами пожал: в такой прогулке он не усматривал ничего особенного. До города

— три мили, и управится он быстро. И пожалуй, от прогулки этой удовольствие получит.

— А чего нам в городе надо?

Райдо вздохнул: не получалось у него прививать Нату мудрость.

— Ничего. Дождь собирается.

— Ага, — охотно согласился он и, легши на подоконник, голову высунул. — Двор опять зальет. Я ей говорил, что водосток забился, чистить надо. А она мне, что это не мое дело! Это ж ваше дело, а значит, мое. Вода не уйдет, и двор размочит, и вообще...

Дайну он недолюбливал искренне и от души.

— Дождь, — повторил Райдо, опершись на подоконник.

А ведь он любил дождь.

И снег.

И жару... и радугу тоже... и узоры льда на окне. Холод. Ветер.

Жизнь. Вот что мешало ему просто сдохнуть, оправдывая и врачебные прогнозы, и родственные опасения, — как уйти, когда вокруг такой сложный и удивительный мир?

— И холодно... как ты думаешь, далеко она уйдет?

— Кто? — Нат, похоже, успел позабыть про альву. — А... а какая разница?

— Никакой. Или от голода сдохнет, или от холода. Может, встретится кто на этой дороге, кто прибьет быстро и безболезненно. Главное, что не ты, верно?

Нат отвернулся.

— Вот ведь как интересно выходит. Ты ее ненавидишь, а руки марасть опасешься. Предпочитаешь, чтобы кто-нибудь другой и за тебя...

— Я...

— Нат, я уже говорил. Если тебе эта девчонка так мешает, то убей ее. Сам. Собственными руками. А не перекладывай это на других.

Нат отпрянул. Хотел было ответить что-то, но промолчал. И губу прикусил для верности.

— Ну так как? — поинтересовался Райдо.

Никак, похоже.

— Я... я ее ненавижу. — Нат стиснул кулаки. — И скажете, у меня причин нет?

— Есть, — согласился Райдо. — Но ты не думал, что и у нее есть причины ненавидеть тебя?

Этого нежная Натова душа вынести была не в состоянии.

Сбежал, только дверью хлопнул. Вот щенок. Распустился вконец, решил, что раз Райдо болеет, то он в доме хозяин... бестолочь лохматая. Райдо высунул голову в раскрытое окно.

Холодно.

И хорошо, что холодно. Во двор выйти, что ли? Посмотреть на треклятый водосток, который забился... и еще на кур, вон возьмется в грязи... если есть куры, то должны быть яйца.

Яичница. С беконом.

Ему вредно, ему положены бульоны и овсяная каша на воде, но, жила предвечная, неужели умирающему откажут в такой малости, как яичница с беконом?

Надо только спуститься на кухню, а Дайне велеть, чтоб в комнате порядок навели, а то стыдно же...

Но уходить Райдо не торопился, лег животом на подоконник, осторожно, чтобы не потревожить тварь внутри, и тварь, с которой он постепенно начал сживаться, поняла.

Отступила.

Позволила вдохнуть сырой промозглый воздух. И дождь еще начался, словно по заказу, серый, сладкий. Райдо ловил капли языком, как когда-то в далеком детстве, и по-детски же радовался, что рядом нет матушки, которая запретит...

...а на кухню он спустился, к ужасу Дайны и негодованию кухарки. И яичницу потребовал. И бульона. И чтобы козу нашли. Он ведь вчера еще поручил найти козу, но поручение не исполнили.

Нет, определенно, в доме пора было навести порядок.

На чердаке, против опасений, было сухо.

Пахло свежим деревом, и запах этот успокаивал.

Сумрачно. Свет проникает в узкие чердачные окна, пылинки пляшут, и Ийлэ, вытягивая руку, ловит их. А поймав, отпускает.

Идет, переступая с доски на доску, осторожно, и дом в кои-то веки молчит. Это молчание... неодобрительное? Он думает, что Ийлэ его предала?

Неправда.

Он первым, но Ийлэ не держит зла. В конечном итоге стоит ли ждать верности от дома, если старые друзья... не было друзей, никогда не было. Ей лишь казалось, что...

Оборванные мысли.

И лоскуты прежней довоенной жизни из воспоминаний или старых сундуков, что стоят вдоль стены. Ийлэ знает, что в сундуках — ее куклы, и удивляется, как уцелели они. Дом ведь не умер, держится корнями за землю, дышит паром, выдыхая лишнее тепло в трубу, которая ведет на крышу. Там, внутри, клокочет дым. Ийлэ прежде нравилось думать, что в трубе обретаются драконы. И она, прижимаясь к кирпичу, вслушивалась в шорохи, в голоса их... слышала что-то.

А теперь?

Ничего.

Но у трубы отродью будет теплей. Ийлэ поставила корзину на пол и сама села рядом.

— Ш-ш-ш. — Она приложила палец к губам, обветренным и сухим. И палец этот тоже обветренный и сухой. Мама велела бы смазывать губы маслом, а руки... руки уже никогда не будут прежними. Наверное, это правильно, поскольку и сама Ийлэ тоже не будет прежней.

Она вытащила отродье, завернутое в белые тряпки.

Непривычное.

От макушки больше не пахло лесом, но молоком.

— Тиш-ш-ше. — Губы плохо слушались, Ийлэ слишком давно не разговаривала, да и какой смысл в беседе, если тебе не ответят?

Отродье точно не ответит.

Мелкое. Бесплезное. И все еще живое. Ийлэ положила его на сгиб руки. Разглядывала... сколько раз она разглядывала это сморщенное личико, пытаясь разделить его черты на свои и...

Который из них?

Все псы похожи друг на друга.

И если так, то, быть может, Ийлэ повезло и в отроде нет той, порченной, крови...

Ийлэ повезло бы, родись оно мертвым.

— Сейчас. — Ийлэ наклонилась к приоткрытому рту.

Силу девочка пила. И, напившись досыта, уснула. Темные длинные ресницы слабо подрагивали, пальцы шевелились, и, кажется, отродью снился сон. Хорошо бы светлый.

В детстве Ийлэ видела очень светлые сны.

Про драконов из печной трубы. Или про ромашковых человечков, которые обретаются на старом лугу... про стрекоз и бабочек. Про кукол, которые оживали и устраивали чаепитие.

Безумная мысль, но в тех снах царило удивительное спокойствие.

Ийлэ, вернув отродье в корзину, поднялась.

Сундук.

Шершавая крышка, сухая, прямо как кожа на собственных ее ладонях. И мелкие трещины на ней — рисунком... замка нет. Да и от кого запирается? Чужих здесь не было. Вот только и своих не осталось.

Крышка открылась беззвучно.

Снова лаванда, но мешочки старые, рассыпаются пылью в руках, и на пальцах остается не запах — тень его... пускай. Так даже лучше.

Кукольный стол, который папа привез с ярмарки. Скатерть шила мама... стулья... и к каждому — чехол, который сзади завязывался кокетливым бантиком... посуда... чайник, помнится, она еще тогда в саду потеряла. Искала долго и еще дольше горевала, пока отец не вырезал другой.

Здесь он. Краска облезла.

И сервиз не весь. Крохотные тарелки и чашки с ноготок. Блюдо. Вместо пирога — хлебная корка. А в кукольный кувшин можно набрать дождевой воды.

Под старым окном по-прежнему лужа. Ийлэ, сев на пол, собирала воду пальцем, подталкивая к кувшину.

Это игра такая. Замечательная.

И все остальное — тоже игра... кукол рассадить.

— Доброго дня, найо Арманди. — Она выгащила фарфоровую красавицу, которая изрядно утратила красоту. Лицо ее потемнело, волосы свалялись. А ведь и вправду чем-то напоминает супругу добрейшего доктора. — Я рада видеть вас. Мы так давно не встречались. Печально, не правда ли? Не сомневаюсь, у вас есть о чем мне рассказать...

Она кое-как пригладила включенные волосы куклы, усадив ее во главе стола, но тут же передумала и сдвинула стул.

— Вы здоровы? А ваши прелестные дочери? Надеюсь, с ними все хорошо? Конечно, конечно... что же с ними могло случиться? Мирра...

...у этой куклы глаза стерлись. А у второй — рот.

— Нира... счастлива повидаться... как у меня дела? Ах, помилуйте, как могут быть дела у альвы, которая... нет, об этом не будем. Вы ведь слишком нежные существа, чтобы разговаривать с вами о всяких ужасах...

Ийлэ мазнула ладонью по щеке.

От ладони все еще пахло лавандой и, пожалуй, пылью, но почему-то только эти запахи, в сущности своей самые обыкновенные, из множества ароматов, ее окружавших, порождали спазмы в горле.



— И вы здесь, найо Тамико... — Плюшевый медведь с оторванной лапой не желал сидеть ровно, и Ийлэ пришлось подвинуть его стул к самой стене. — Надеюсь, все ваши кошки войну пережили? Не все? Черныш скончался? Бедняга... уверена, вы похоронили его достойно. Слышала, у вас колумбарий кошачий имеется. Это так мило... но присаживайтесь, будем пить чай... да, жаль, что матушка моя не может составить вам компанию. Не сомневаюсь, вы скучаете по ее обществу...

Она вытащила хлебную корку. Крошки отламывались с трудом, но Ийлэ старалась.

— Но она отсутствует по очень уважительной причине... видите ли, она умерла.

Плюшевый медведь все одно заваливался на бок.

— Да, да, найо Тамико. — Ийлэ в очередной раз вернула медведя на место. — Умерла. Прямо как ваш дорогой Черныш... хотя что это я, он ведь от старости издох, а маму убили. Горло перерезали. Представляете?

Медведь смотрел глазами-пуговицами, на облезлой морде его Ийлэ чудилось выражение брезгливое и одновременно недоуменное: разве бывает такое, чтобы благопристойным дамам перерезали горло? Не в том чудесном засахаренном мирке, который так долго казался Ийлэ настоящим.

— А вы что скажете, найо Арманди? Ничего? Но по глазам вижу, вам нужны подробности... вы всегда с преогромной охотой смаковали подробности сплетен. Жаль, только в нашем городке никогда не было сплетен по-настоящему горячих... именно что не было...

Ийлэ подвинула к кукле чашку, которую наполнила дождевой водой.

— Но сейчас-то все иначе. И я с преогромным удовольствием с вами поделюсь. Пейте чай. Что? Это не чай, а вода? И пахнет она плохо? А вы потерпите, вы ведь сами рассказывали мне, что терпение — это величайшая из добродетелей... так вот, прежде чем убить, маму изнасиловали... Мирра и Нира, не затыкайте уши, я все равно знаю, что вы подслушиваете. Чего уж стесняться? Изнасиловали... а потом по горлу... это хорошая смерть, быстрая очень... и я думаю, что мама умерла счастливой. Она ведь думала, что мне удалось уйти...

Не слезы.

Вода.

Ийлэ плакала раньше, когда полагала, что слезы ее хоть кого-то тронут... и умоляла... и проклинала... а они смеялись только.

...теперь она боится смеха.

...она боится и громких звуков, и теней, и людей, когда эти люди подходят слишком близко.

...она боится себя самое и не представляет, что делать со всеми этими страхами.

Жить? Жить. Как-нибудь, ведь протянула же она и весну, и лето, и осень, два месяца из трех. Это много...

— Что такое, найо Арманди? Вам неприятно слушать о таком?

Кукла молчала, глядя в тарелку, и лицо ее, грязное, скрывала тень, словно бы этой кукле было бы стыдно.

— Конечно, неприятно... вы ведь были подругами. Мама так думала... лучшие подруги, несмотря на разницу в положении. Вы любили эту разницу подчеркивать... гордились, что мама снизошла до вас... или завидовали? А может, и то и другое... но она не замечала... говорила, что нет человека более надежного... и меня к вам отправила... спрятала...

Вода по щекам, это не слезы — дождь. Дожди ведь шли последнюю неделю, Ийлэ вымокла, а теперь, почти у трубы, сохнет, вот лишняя вода и находит способ покинуть тело.

Плакать незачем.

В кукольных играх нет места слезам.

— Она вам верила. Я вам верила. Но вы в этом не виноваты... война ведь, а война многое меняет. Вы же не могли рисковать... многие знали про эту дружбу, про меня... и к вам бы пришли, рано или поздно, но пришли бы обязательно. Так вы решили?

Кукла молчала. Куклы вообще разговаривать не способны, это Ийлэ понимала хорошо.

— Вы просто успели раньше. От вас даже присутствия не понадобилось, всего-то пара слов... конечно, вам было стыдно. Нормальные люди должны испытывать стыд, совершая подлость, но вы себя утешили, сказали, что вам не оставили выбора... не печальтесь, найо Арманди. Мамы нет. И упрекнуть вас будет некому... и вообще, война закончилась, и надо ли вспоминать о прошлом? Пусть все будет как прежде... вот только на чай вам больше некуда ездить, но без чая прожить можно, да?

Тишина. Дождь по крыше. Дождь снаружи и внутри, все льется и льется, этак скоро выльется до капли, тогда Ийлэ умрет от обезвоживания.

Ну уж нет.

— Действительно, что это я... — Она разложила по тарелкам хлебные крошки, корку, не удержавшись, отправила в рот.

Колючая. Язык царапает и размокать не спешит, но так даже лучше, корку можно долго жевать и удивляться кислотоватому ее вкусу, многообразию оттенков его. А когда корка размокнет, то жевать медленно, растягивая удовольствие. Потом хлеб, конечно, закончится, но...

В кармане оставалась булка. С изюмом. Изюм Ийлэ выковыряет и будет есть долго, по одной изюмине. Она уже представляла, насколько сладким он будет.

Тоже счастье.

— Давайте сменим тему... поговорим о вас? Нет, вам не хочется говорить о себе? Действительно, никаких новостей, все по-прежнему, будто бы и не было войны... для вас ее и не было... обо мне? Вас удивляет, что я еще жива? Действительно, как это у меня получилось выжить... сама удивляюсь, не иначе как чудом... бывают вот такие странные чудеса.

Ийлэ вытерла щеки.

Дождь закончился, и пусто стало, до того пусто, что она сама испугалась этой в себе пустоты.

— Что со мной было? А разве ваш супруг не рассказывал? Не верю. Он ведь без вас и шагу ступить не способен. Давеча появлялся. Сказал, что моя дочь умрет. Тоже мне новость. Я была бы рада, если бы она сдохла...

Куклы молчали. Смотрели.

— Я была бы рада, — спокойно повторила Ийлэ, разливая воду по кукольным чашкам, — если бы вы все сдохли...

Она оставила кукол, и кувшин убрала, и в короб, в котором еще оставалось множество вещей, больше не заглядывала. Но на четвереньках отползла к теплой печной трубе и легла рядом с корзиной. Ийлэ не спала, слушала дождь и урчание воды в водосточных трубах, шум ветра где-то сверху, над крышей, и шелест драконьих крыл за стеной из красного кирпича.

И слабое, сиплое дыхание отродья.

Девочка будет жить.

Назло добрейшему доктору, супруге его и дочерям...

На кухне яичницы не дали.

Не положено. Не принято.

И кухарке он мешать будет. Нет, ежели бы потребовал, конечно, накрыли бы и там, на выглаженном, выскобленном едва ли не добела столе. Но кухарка, стоило Райдо произнести просьбу, глянула так, что ему самому совестно стало.

Яичница? С беконом? И еще помидорами жареными?

В приличных домах такое к завтраку не подают, и вообще, для Райдо овсяная каша сварена на говяжьем бульоне... в общем, Райдо почти и расхотелось есть. И тварь внутри ожила, зашевелилась, напоминая, что он вообще-то помирает, точнее, пребывает в процессе помиранья, и сам по себе этот процесс, не говоря уже о результате, отнюдь не в удовольствии.

— Это жрите сами. — Он указал на плошку с кашей. — А я жду яичницу. С беконом. И помидорами.

— Помидоров нет. — Кухарка остервенело начищала песком сковородку и, увлеченная сим, несомненно, важным занятием, не соизволила обернуться.

— Тогда с сыром. Или сыра тоже нет?

Сыр в наличии имелся.

— Райдо! Вам нельзя!

— Чего?

— Жареное! И жирное! Острое! Вы должны придерживаться диеты, и тогда...

— Жизнь моя будет мало того что короткой, так и вовсе безрадостной. — Райдо сделал глубокий вдох, пытаясь совладать с болью. Кулаки разжал.

И руку на плечико Дайны положил. Плечико было узким и горячим. Обнаженным... как-то Райдо не особо разбирался в том, что положено носить экономкам, но помнил, что прислуга матушкина носила платья серые, закрытые.

Дайна вздрогнула и голову подняла. В глаза смотрит.

И собственные ее томные, с поволокой.

— Послушай меня, радость моя, — Райдо экономку приобнял, привлек к себе, она тоненько пискнула, но отстраниться не попыталась, — убралась бы ты в доме, что ли, а то по уши скоро грязью зарастем...

— Что?

Дайна моргнула. И губки свои поджала, соорудила гримасу оскорбленную.

— Убраться надо, — терпеливо повторил Райдо. — Пыль там протереть, полы помыть. Окна опять же... не знаю, чего еще там делают, чтоб чисто было.

— Мне?

— Ну не мне же. Ната вон возьми. Или найми кого, если сама не можешь. Но это позже. А пока я жду свою яичницу. С беконом и сыром.

Он выпустил Дайну, которая осталась стоять, все так же запрокинув голову, а на круглом личике ее появилось выражение обиды.

Вышел. И дверь прикрыл осторожно, не столько потому, что не желал хлопнуть ею со всего размаха, сколько затем, что боялся отпустить.

В коридоре накатило. Резко, как бывало, когда тварь вдруг разворачивала хлысты

побегов, лишая возможности не то что двигаться — дышать.

А он все равно дышал.

Стоял, упираясь в треклятую стену руками, которые мелко подрагивали.

Глотал слюну.

Радовался, что Дайны нет. Полезла бы со всхлипами, с суетливым своим сочувствием, от которого только хуже. Нат вот знает, что когда накатывает, не надо Райдо трогать.

Он справится.

И сейчас тоже. Уже справляется. Еще мгновение и стену отпустит... и уйдет. До следующей двери всего-то пара шагов. А там до столовой, которая его раздражает, поскольку слишком большая для одного.

Но яичницу подадут туда.

И Райдо съест ее, хотя есть больше не хочется, а хочется лечь, свернуться клубочком и, вцепившись в собственные руки, завывать. И надраться, конечно. Он сегодня почти и не пил, потому что пить при детях нельзя. А малышка не спала, смотрела... нехорошо пить при детях...

...альва ее забрала.

...не уйдет из дома, если в голове хоть капля мозгов осталась...

...на улице дождь, а с утра и заморозки были, и значит, скоро похолодает, а там и снег, и зима... куда ей идти зимой? Леса спят...

Райдо, если бы мог, рассмеялся бы. Надо же, сам едва-едва на ногах держится, а туда же, про альву. Она небось, будь такая возможность, убила бы. И к лучшему, глядишь, не было бы так больно.

Приступ закончился резко. Боль не исчезла, откатилась, позволяя нормально дышать, и слюну утереть, и увидеть, что слюна эта — красная, а значит, до легких добралась треклятая лоза. И уже недолго ждать. Неделя? Две?

Если заморозки, то уснет...

...хорошо бы до весны дотянуть, увидеть, как расцветают яблони... говорили же, что это охрысенно красиво...

Дурак.

Как жил дураком, так и помрет. Яблонь ему не хватает. Главное, чтобы вискаря хватило. С вискарем Райдо долго продержится. С вискарем он не то что весну, последний день мира встретит.

Он почти уже ушел, когда раздался скрипучий голос кухарки:

— Ну что, Дайночка, получила по носу?

— А ты и рада...

Подслушивать Райдо не собирался, это некрасиво... но интересно. А в его жизни не так уж много развлечений.

— Больно много ты на себя взяла. — Кухарка говорила с обычным своим раздражением, и Райдо вдруг подумалось, что женщина эта, наверное, глубоко несчастна, поскольку во все те редкие встречи, которые все же случались с ней, она неизменно пребывала в этом самом раздражении.

— Что, скажешь, не по праву?

— Ну-ну...

— Посуди сама, он долго не протянет... и что будет с усадьбой?

Кухарка ничего не ответила, должно быть, ей было совершенно плевать на усадьбу.

— Отойдет роду, верно? А мы куда? Вот ты...

— Я себе всегда работу найду.

— А я?

— И ты, если работать начнешь. Дом запустила...

— Я не горничная!

— Да неужто? Небось при старой леди камины драила, а теперь...

— А теперь, — голос Дайны сделался низким, шипящим, — все изменилось! Где теперь эта леди?

И верно, где? Альва знает, но не скажет пока, быть может, позже, когда она поверит, что в доме вновь безопасно. Если когда-нибудь поверит.

— Вот то-то же... нашла и на нее управа...

— Злая ты, Дайна...

— А ты добрая, стало быть? Небось от великой доброты тут подвизалась...

— Осторожней, Дайна... — Кухарка произнесла это почти шепотом, но Райдо расслышал. — Я хоть и на кухне была, но многое слышала... видела еще больше...

— Слышала, видела, но ты же никому не расскажешь, верно, Мария? Ты женщина разумная... осторожная...

— Я-то не расскажу. — Теперь раздражение сделалось ощутимым, и скребущий нервозный звук лишь подчеркивал его. Кухарка, которую разговор изрядно взволновал, остервенело драла несчастную сковороду. — Но это я... а она, думаешь, станет молчать?

Тихо стало. И тишина эта была опасной, с запахом дыма и близкой беды.

— Не твоего ума дело, — резко сказала Дайна. — С ней я как-нибудь разберусь... яичницу готовь, а то ж... уволит.

— Кого из нас?

Ответа на этот вопрос Райдо дожидаться не стал.

Коридор, еще недавно казавшийся невероятно длинным, он преодолел быстро, а по лестнице поднялся еще быстрее. В столовую вошел быстрым шагом.

Сел. Руки на подлокотники кресла положил. Откинулся, упираясь затылком в высокую спинку стула. Стулья доставили из отцовской усадьбы по матушкиному почину. И стол оттуда же, длинный, дубовый, за который с полсотни гостей усадить можно, если не сотню. Но гости благоразумно держались в стороне от поместья, и Райдо, сидя во главе этого стола, чувствовал себя нелепо.

— Нат! — Он был уверен, что Нат где-то поблизости.

Мальчишка никогда не отходил далеко, верно опасаясь, что без его заботы Райдо до срока преставится.

— Нат, чтоб тебя... сюда иди... завтракать будем.

— Я не голоден.

— А мне плевать. — Райдо вытянул ноги, чувствуя, что еще немного — и сползет с кресла. — Завтрак по расписанию быть должен. Р-развели бар-рдак...

Нат ничего не ответил, но послушно занял место за столом.

— Руки мыл?

— Мыл.

— А шею?

— И шею мыл. — Нат покосился недоверчиво, переспросив: — А что?

— А ничего. Может, меня вид грязной шеи аппетита лишает...

Аппетита лишала тварь, которая затихла, позволяя Райдо поверить, что, быть может, нынешняя пауза продлится хоть сколько-нибудь долго.

— Нат... — Пытаясь отвлечься от саднящей боли в легких, Райдо погладил столешницу. — У меня к тебе просьба будет...

— Козу найти?

— Коза — это не просьба, а приказ... нашел?

Нат кивнул.

Хороший парнишка. И что с ним будет, когда Райдо издохнет? Надо будет младшенькому отписать, пусть к себе возьмет. Нат, конечно, молодой, но сообразительный. В армии ему делать нечего, он армии и так нахлебался по самое не могу, а полицейское управление — дело иное.

Та же служба, но спокойней.

— А вот просьба... — Райдо поскреб подбородок. — Если откажешься, я пойму... настаивать не буду...

Нат в полицию не захочет, в войска рвется, не понимая, что без поддержки рода всю жизнь и останется чьим-нибудь ординарцем. Будет до седых волос сапоги чистить и коз искать...

Ничего, в предсмертной просьбе не откажет.

Или клятву взять? К клятвам щенок очень серьезно относится. Исполнит. А там, глядишь, и поймет...

Братец тоже найдет, к чему его приложить...

— В город съездить... послушать, что говорят...

— О чем говорят? — Нат нахмурился.

— О том, что тут было.

— Где?

— Тут. — Райдо терял терпение. У него в принципе никогда-то с терпением не ладилось, а уж сейчас и вовсе крохи остались. — В доме...

— А что тут было?

— Нат!

— Да?

Не издевается и вправду не понимает. Для него дом — это просто-напросто дом, крыша над головой и куча проблем, вроде того же водостока и луж во дворе.

— Нат, — мягче повторил Райдо, — как ты думаешь, кто тут жил?

— Альвы.

— А что с ними стало?

Нат задумался, но ненадолго.

— Ушли. Альвы ведь ушли.

— А эту почему оставили? — Райдо почесал подбородок: после приступов шрамы начинали зудеть, и зуд этот порой делался невыносим.

— Не знаю. Не нужна была? Или не захотела?

— Вот ты и выясни, не нужна она была или не захотела...

— Как?

— Как-нибудь, — сказал Райдо, заставив себя руки от лица убрать. — Прояви смекалку. Ты же умный парень...

На лесть Нат не повелся, он покосился на Дайну, которая вплыла в дверь, неся на

вытянутых руках серебряный поднос.

— Просьба? — уточнил Нат.

— Просьба.

— И отказаться могу?

— Да.

Он поскреб переносицу грязноватым ногтем, который явно свидетельствовал, что Нат солгал о мытых руках, и произнес:

— Я исполню эту просьбу, но взамен вы исполните мою.

— Шантажист малолетний...

Нат лишь плечами пожал.

— Давай уже.

Дайна, выражение лица которой говорило о том, что она все еще обижается и вообще не одобряет поступков Райдо, поставила поднос на стол. И крышку сняла.

— Вы съедите все. — Нат указал пальцем на тарелку, где на бело-желтых островах яиц таяло сливочное масло. Лежали тонкие ломтики бекона, выжаренного до полупрозрачности, украшенные зеленью.

— Шантажист, — буркнул Райдо, вдыхая аромат нормальной еды.

— Ну... — Нат осклабился. — Вы вполне можете отказаться.

Ийлэ, наверное, задремала, иначе как объяснить, что она не услышала пса? Он был в трех шагах, сидел, опираясь спиной на приоткрытый сундук, скрестив ноги и сунув руки в подмышки, отчего не слишком-то чистая рубашка его, незастегнутая, разошлась, обнажая впалый располосованный шрамами живот. Голову пес склонил набок, и казалось, что он и сам дремлет, убаюканный шепотом дождя. Полумрак чердака странным образом разгладил рубцы на его лице, да и само это лицо больше не выглядело грубым.

Крупный нос с характерно широкой переносицей и вывернутыми ноздрями. Квадратный подбородок. Лоб покатый, бугристый, словно кто-то лепил этот лоб наспех из красной кейранской глины.

Вылепил и оставил.

— Привет, — сказал пес хриловатым низким голосом. — Не хотел тебя будить. Со временем понимаешь, насколько ценная эта штука — нормальный сон. Я вот молока принес...

Ийлэ перевела взгляд с пса на кувшин.

— Это тебе. Ей я отдельно... козье... там Нат козу нашел... Нату ты не нравишься, но у него есть причины не любить альвов. А у тебя, думаю, есть причины не любить нас, но так уж вышло, что жить нам придется под одной крышей, потому будь к нему снисходительна. Он мальчишка... и вовсе не злой. Бери...

Он подвинул кувшин:

— Я слышал, что альвы любят молоко...

Пес замолчал, наверное, ждал ответа. Не дождался.

Кувшин был рядом. Высокий. В такой пинты три влезет, а то и четыре. Старый... Кажется, Ийлэ видела его на кухне в той своей прошлой жизни... и вправду кажется... что она помнит?

Ничего.

Кувшинов на кухне хватало, и медных кастрюль, и черпаков, шумовок, тарелок, блюд и



блюдец, прочих вещей, за которые теперь цеплялась память. Но главное, что этот конкретный кувшин был рядом и Ийлэ не только видела темную его поверхность, неровную, покрытую влажной испариной, но и ощущала сладкий аромат молока. Не только его. Хлеб. Свежий. Быть может, горячий, с крепкой хрустящей корочкой, с мякишем, который липнет к пальцам. Мясо. Жаренное с чесноком, с ароматными травами...

И поневоле Ийлэ принюхивалась, пытаюсь разобраться в ароматах...

— Это тоже тебе. — Пес вытащил откуда-то из-за сундука глубокую тарелку, прикрытую полотенцем. — Вроде еще не совсем остыло. Если остыло, то скажу и погреют... хотя, конечно, гретое не то, но ты так сладко спала... Бери.

Он подтолкнул миску к Ийлэ. Замер.

Еда была близко. Обманчиво близко. Только руку протяни и... что тогда? Отберет? Пинком опрокинет кувшин, чтобы раскололся, разлетелся на куски? Швырнет миску в стену? Или просто ударит по руке? По лицу?

Нет, по лицу били редко, не хотели портить...

Ийлэ переводила взгляд с миски на пса, с пса на миску, уговаривая себя не поддаваться. Есть еще хлеб... и булка, та, которая с изюмом. Это ведь почти роскошь... и вовсе Ийлэ не настолько голодна...

...душица...

...и подлива кислая, на можжевельных ягодах, такую кухарка готовила к мясу...

...а мясо свежее, вымоченное в кислом молоке, запеченное на углях...

— Ты выпила мой бульон, и это хорошо, потому что он полезный, хотя и гадость редкостная, но бульона одного мало. Поэтому поешь.

Ийлэ покачала головой: она не так глупа. А с другой стороны, если она испортит ему игру, пес все равно разозлится, так имеет ли смысл рисковать?

— Ты... не против, если я ее возьму? — Пес поднялся, и Ийлэ отпрянула, прижимаясь к трубе. Он подходил медленно, и с каждым шагом его скрипели доски.

Тень пса переползала с одной на другую и на трубу, словно карабкалась по кирпичам, и на Ийлэ легла, лишая возможности двигаться. Надо было бежать, но Ийлэ только и могла, что смотреть на него.

Ждать.

— Послушай, — пес протянул руку, но не к ней, а к корзине, — ты... ты меня боишься, а это неправильно. Я в жизни не ударил женщину.

Он поднял корзину легко, и отродье лишь вздохнуло. Оно проголодалось. И если пес вновь даст ему молока, то будет хорошо, а если не даст... он оставил кувшин, Ийлэ не будет пить все. Поставит на подоконник, там холодно, потом можно будет поделиться.

Согреть во рту.

И по капле. Отродью легче, когда по капле, молока ли, силы. А миску пес тоже оставил, с полотенцем. Ийлэ, убедившись, что он ушел и дверь на чердак за собой запер, на четвереньках подобралась к миске.

Мясо остыло. А хлеб, пропитавшись подливой, стал только вкусней. Ийлэ отламывала по крохотному кусочку, засовывала их в рот и рассасывала, как когда-то давно леденцы...

...хлеб был лучше леденцов. Много лучше.

...она так и осталась на чердаке. И пес притащил туда одеяло.

А второй, который помоложе, матрац. Этот второй ненавидел Ийлэ и потому был понятен. От него следовало держаться подальше, и она отползла за трубу, в тень, которая, к

сожалению, была не настолько густой, чтобы пес ее не увидел.

Он же, бросив матрац, не спешил уходить.

Прошелся по чердаку, остановился у распахнутого сундука, куклу поднял, повертел в руках и аккуратно усадил за столик.

— Ты мне не нравишься, — сказал он, повернувшись к Ийлэ спиной.

Пес смотрел в узкое чердачное окно и на подоконник, тоже узкий, темный от влаги, опирался обеими руками. Он покачивался, и Ийлэ не могла отделаться от ощущения, что еще немного — и пес упадет.

Пускай бы упал и свернул себе шею, благо тонкая, длинная.

— Я вообще альвов ненавижу... и хорошо было бы, чтобы ты сдохла.

Наверное.

Ийлэ подумала и согласилась: она ненавидела псов, и если бы этот, конкретный, который знал, что Ийлэ слабее, и потому ее не боялся, издох бы, она бы порадовалась.

— Но Райдо думает иначе.

Обернулся. И от подоконника отлип. Подошел, пнул матрац.

— Это он приказал принести. Я принес. И буду приносить матрацы, белье... что угодно, пока ему от этого легче. Слышишь?

Слышит.

Райдо... он называл имя, но Ийлэ его не запомнила. К чему ей знать чужие имена? Ей бы собственного не забыть.

— Поэтому чем дольше он проживет, тем лучше для тебя...

Пес ушел.

Ийлэ осталась.

Она перетянула матрац поближе к печной трубе. И простыни погладила, удивляясь тому, что у нее есть простыни... чистые, белые... Одеяло. Подушка огромная, с которой Ийлэ ложилась спать в обнимку. Но засыпала все одно настороженная, готовая очнуться от любого шороха, уже отличая голоса дома от шепота дождя.

Убежище она покидала дважды в день, всякий раз осторожно выглядывая из-за двери, убеждаясь, что узкий коридор за ней пуст. И второй, ведущий к центральной лестнице.

Лестница ей была не нужна. Ийлэ добиралась до дубовой двери и вновь останавливалась, прислушиваясь к тому, что происходит за этой дверью, трогала ручку. Толкала дверь. И замирала, ожидая окрика.

Она знала, что в это время пес спускался к завтраку, но все равно ждала... чего?

Чего-нибудь.

И чем дальше, тем напряженней становилось ожидание. Если бы не отродье...

Он нарочно оставлял корзину в своей комнате, зная, что Ийлэ придет за ней. В комнате этой стало чище. Здесь все еще пахло болезнью и виски, но пыль исчезла и вещи не валялись на полу. Ийлэ замирала на пороге, приказывая себе быть осторожней.

Она кралась — от двери до корзины — три шага.

И назад три.

Переступить порог. Выдохнуть с облегчением — у нее вновь получилось. И сбежать в единственное, почти безопасное место: на чердак.

Дверь прикрыть.

Сесть. Вытащить отродье, нить жизни которого день ото дня становится прочней...

— З-сдравствуй, — сказать шепотом.

Она не ответит.

Хорошо, если дрогнут полупрозрачные веки. Или ручонки, спрятанные меж полотняных складок, шелохнутся. Отродье по-прежнему тихо, безмолвно, но это безмолвие больше не кажется спасительным. Ийлэ порой хочется, чтобы оно, ее проклятье, ожило. Закричало.

Молчит.

Но силу тянет, поток за плотком, жадно, словно осознает, что от этой силы зависит собственная его жизнь. Ийлэ делится. Ей не жаль, правда, силы все одно немного, но... с каждым днем прибывают. По капле. По вздоху. С теплом чердака, с едой, которую приносит пес, и он же, больше не пытаясь заговаривать, забирает отродье.

Пса зовут Райдо.

Она повторяет это имя, когда знает, что его нет поблизости. У имени сотни оттенков, как и у собственной Ийлэ ненависти. Порой она легкая, невесомая, как осенние сумерки, порой густая, промозглая, сродни туманам. Кислая и горькая, с шелестом дождя, со скрипом дверных петель, которые отсырели. С шорохом юбок Дайны...

...она поднялась на чердак лишь однажды.

И шла крадучись, но, будучи человеком, Дайна оказалась слишком неуклюжа, и Ийлэ слышала ее задолго, а еще Дайну выдал запах — терпкий, едкий аромат ландышей.

...туалетную воду Дайна покупала в аптекарской лавке, в мутной бутылки с узким горлом, которое затыкали старой пробкой. Флакон оборачивали мягкой ветошью и перевязывали бечевкой.

Ийлэ помнит.

Еще один осколок от прежней жизни, как и темно-зеленое шелковое платье, отделанное золотым шнуром. Его мама выписала из столицы, и платье оказалось слишком уж свободно в груди, его пришлось перешивать...

...Дайна перешила вновь, вставив в корсаж широкие полосы желтого поплина. И еще дешевое темное кружево, которое смотрелось убого, как и два ряда перламутровых пуговиц.

— Здравствуй, — сказала Дайна. Она остановилась на пороге, подобрав юбки.

Здравствуй.

Наверное, Ийлэ могла бы сказать.

Наверное, она бы и сказала... и собиралась... не сумела.

— Молчишь? — Дайна вошла, пригнуться, как псу, ей не пришлось. Она всегда была невысокой, полноватой, но сейчас полнота эта не выглядела уютной.

Пухлые щеки. Нос курносый. Губы полные, вывернутые и блестят маслянисто, Дайна их облизывает, и этот глупый жест выдает волнение, хотя странно: с чего бы волноваться ей? Она с псами ладила. Ей даже платили... и вещи вот отдали... мамины вещи...

— Молчи... это правильно... — Дайна попробовала пол ногой, убеждаясь, что тот крепкий. — Это разумно... ты будешь молчать, а я...

Она юбки держала высоко, и видны были и крепкие кожаные башмаки с квадратными носами, и полные щиколотки, правда, ныне не в шелковых чулочках, но в солидных, вязаных.

— А я помогу тебе.

Остановилась Дайна у корзины и, вытянув шею, заглянула внутрь:

— Еще жива?

Ийлэ подалась вперед, оскалилась. Ей была неприятна сама мысль, что эта женщина прикоснется к отродью своими белыми пухлыми ручками.

— Не рычи... ты ж понимаешь, что живешь здесь только потому, что хозяин разрешил?

Хозяин?

Райдо.

Имя с тысячью оттенков, сейчас горькое, обжигающее, пусть Ийлэ и не произносит это имя вслух. Она все одно катает его на языке, не способная отделаться.

— Но он может и передумать... — Дайна наклонилась, дыхла едким ароматом ландышей. — Я могу передумать... веди себя хорошо.

Она развернулась на каблуках, нелепо взмахнув подолом. И жест этот, самой Дайне, верно, представлявшийся изящным, был смешон. И сама она, надевшая чужое платье, примерившая чужую роль, была смешна. Гротескна.

И великолепно вписывалась в нынешнюю, искаженную жизнь.

Ийлэ не смогла удержаться, она рассмеялась звонко и громко и смеялась долго, искренне, как не смеялась уже давно. А когда смахнула слезы, то увидела, что Дайна так и стоит в дверях.

Красная.

И губы полные дергаются. Кулаки стиснула, прижала к груди, которая ходуном ходила, грозя вырваться из тенет корсажа, все одно, несмотря на вставки, слишком тесного.

— Думаешь... думаешь, ты можешь вот так... надо мной... — Наверное, она бросилась бы, окончательно выбравшись из роли.

Вцепилась бы в волосы? Опрокинула на пол?

Сдержалась.

— Ты никто. — Дайна провела пальцами по красному лицу. — Слышишь? Ты никто... и сдохнешь скоро... сначала твое отродье, потом ты...

Она ушла, оставив на чердаке свой ландышевый запах, точно метку, и Ийлэ поспешно открыла окно, позволяя ветру вычистить его. Сама же вернулась к корзине, легла рядом, сунула палец в синюшную ручонку отродья.

Сдохнет? Ну уж нет... это пока незаметно, но Ийлэ точно знает: отродье будет жить.

— Она глупая. — Теперь, когда на чердаке вновь было пусто, Ийлэ могла говорить. — Она меня боитс-с-ся... почему?

Отродье не знало. Оно стиснуло палец в кулачке и вновь смежило веки. Так и лежали, долго, пока ветер не вымел все следы Дайны...

...она и вправду убила бы...

...или нет? Такие не убивают сами, смелости не хватает, но если исподволь, чужими руками...

Надо будет найти еще одну куклу...

За кукольным столом есть место, а Ийлэ интересно будет играть за Дайну. Быть может, Ийлэ даже скажет, что Дайне нечего бояться, что она, Ийлэ, вовсе не собирается выдавать чужие грязные тайны. Не из благородства душевного, но потому, что тайны эти — и не тайны вовсе, мелочь... или даже не так, в них нет смысла.

И та, кукольная Дайна, глядишь, сумеет понять.

Или нет?

На сей раз Ийлэ услышала приближение пса: он поднимался медленно, останавливаясь на каждой ступеньке. Дышал тяжело. И боль испытывал.

Райдо...

...боль сладкая, как патока, кленовый сироп, который доставляли из бакалейной лавки. Покупки привозили раз в неделю, в картонных коробах, и Ийлэ, пробираясь на кухню, садилась в уголочке. Ей нравилось смотреть на то, как кухарка эти короба распаковывает. Она движется с нарочитой неторопливостью, вскрывает крышку, вытаскивает банки с маринованными абрикосами, мешочки с цукатами, с засахаренными сливами и изюмом, которые взвешивает на домашних весах. Бакалейщик сидит за столом, ему ставят тарелку с пирогом и широкую глиняную чашку.

Он пьет чай и следит за кухаркой.

Эти двое доверяют друг другу, но... ритуал есть ритуал.

Про ритуал сказала мама, с усмешкой, и еще добавила, что людям ритуалы важны.

...а псам?

Зачем он сюда таскается? Прислал бы щенка своего, который Ийлэ ненавидит, но не тронет без приказа. С младшим она знает как себя вести, а этот...

— Можно? — спросил он, прежде чем войти.

Будто Ийлэ могла запретить.

— Окно зачем открыла? Ребенка застудишь, — проворчал он.

Закрыл. Остановился, сгорбившись, прижав руку к боку. И задышал часто, поверхностно, а потом закашлялся, и в воздухе запахло кровью.

Псу было больно.

Ийлэ вжалась в пол: она помнила, что свою боль они лечили чужой.

— Дайна приходила? — отдышавшись, сказал он. — Вы ведь знакомы, да?

Ийлэ кивнула. Медленно. Она не была уверена, что псу нужен ответ, но злить его молчанием теперь, когда он и без того раздражен, не следовало.

— Знакомы... что ж, это ничего не значит... и вообще... — Он медленно опустился на пол. — А я вот... хреново мне.

Ийлэ видела.

...догнать не успеет...

...если вдруг решит, то... схватить корзину и выбраться с чердака она сможет... отсидеться где-нибудь, пока он...

— Разрыв-цветы... они красивые... никто не верит, что они красивые. Ты видела когда-нибудь?

Ийлэ покачала головой. Разрыв-цветов она не видела.

Эшшоан — мирный город. И не город даже, городок, подобных ему на землях Лозы сотни и сотни. Не воевали здесь, не думали даже о войне...

Разрыв-цветы?

На площади высаживали сортовые тюльпаны и еще нарциссы, крупные, темно-желтые или же белые...

— И правильно, тебе-то оно ни к чему. — Пес улегся на полу.

Рай-до...

Имя, переломанное пополам. И сам он переломанный, прекрасно это понимает.

...мама розы любила.

Садовые. Чайные, с толстыми, словно навощенными стеблями, с листьями глянцевыми, темно-зелеными, как то треклятое платье, которое присвоила Дайна, с тугими бутонами, раскрывавшимися как-то сразу. Она давала кустам имена. И те, отзываясь на призыв ее, спешили радовать маму цветами, темно-красными, как венозная кровь, или вот белыми, хрупкими... розовыми, желтыми.

Пережили ли розы войну? Почему-то раньше Ийлэ о них не думала.

— Я по глупости нарвался. — Пес лежал, подтянув колени к груди, сунув сложенные ладони под щеку. Глаза закрыл. Улыбался.

Кто улыбается, когда ему больно?

— Поле было... зеленое такое поле... яркое... и еще васильки россыпью. Ромашки опять же... ромашки пахнут хорошо, а я... я помню, удивился, почему запах их такой яркий. Манящий. Словно ромашковые духи над полем разлили... у меня от этого запаха голова кругом пошла. Несколько лет войны, а тут ромашки, представляешь?

Нет.

Ийлэ не представляла. Она не хотела представлять себе его поле и слушать его тоже не хотела.

Райдо...

...кислота на языке, рвота... или слезы... или мясо, которое испортилось и его швырнули Ийлэ, зная, что от голода она одурела настолько, что съест.

Быть может, сдохнет.

Или сбежит.

Если бы не цепь, она сбежала бы, но...

— И вот чуял же, что неладно с этим полем, а все одно сунулся. Ромашек нарвать захотел. Не идиот ли? Идиот, — сам себе ответил пес. — Помню, как зашелестело, будто змея по траве крадется. Я оборачиваюсь, а там... и вправду змея. Зеленая. Огромняющая, с руку мою толщиной будет. Поднялась, раскачивается...

...раскачивалась веревка на заднем дворе. Привязали ее к столбу, а в веревку сунули папу... и ветер шевелил тело, отчего казалось, что папа еще жив.

— ...а наверху шар распускается. Цветок такой. Желто-лиловый, как... не знаю, как что... красивый... я на него пялился. Веришь, видел, как трещины идут, и как иглы проступают, и как лопаются он, тоже видел... мне говорят, что невозможно, что воображение, но я-то знаю.

Он замолчал, сглотнув слюну, и Ийлэ мысленно пожелала псу подавиться.

Пожелание не сбылось.

— И видел, как летят... семена, да?

Семена... отец говорил, что живое — священо. И в силу разума верил, и в то, что война, она где-то там, вовне. Какая война в городе, где на площади высаживают сортовые тюльпаны?

— В себя я уже в госпитале пришел... вытащили... сказали, повезло... нет, во мне оно осталось и вытащить его никак, но все равно повезло... живой же... еще немного живой.

Он замолчал и молчал бесконечно долго, а Ийлэ слушала срывающееся его дыхание, в котором явно слышался весьма характерный клекот: легкие пса медленно заполнялись кровью.

— И ты жива... еще немного... а немного жизни, — он облизал губы, — это уже много...

Много? Нет. Достаточно. Правда, для чего, Ийлэ не знала.

Пес не уходил. Он не делал попыток приблизиться. Не стонал. Не проклинал. Просто лежал, вытянув руки. Ладони его были некрасивыми, слишком широкими, загоревшими дочерна. И на этой черноте выделялись белые рубцы. Он шевелил пальцами, короткими, массивными, с квадратными ребристыми ногтями, и рубцы тоже шевелились, будто переползали.

Пес вздыхал.

Ийлэ чувствовала его боль. И не чувствовала радости, хотя должна была. Она смотрела на руки пса, на шею его темную, на щетину светлых волос и на темную кожу под ними. На шрамы. На клетчатую шерстяную рубашку, рукава которой он закатал по самые локти. На ноги и вязаные же носки.

Он был... неправильным.

И когда появился тот, молодой, Ийлэ почти обрадовалась.

— Райдо, ты здесь? Здесь. — Щенок, которого звали Натом, демонстративно не замечал Ийлэ. Наверное, он надеялся, что если не обращать на нее внимания, то она исчезнет. — Как ты?

Плохо.

Это Ийлэ могла бы сказать и сама, но не сказала, а лишь подвинула корзину поближе. Отродье, проснувшись от голоса пса, заворочалось, заморгало и, открыв рот, издало тоненький писк.

— Есть хочет. — Райдо встал на четвереньки. — Надо покормить.

— Пусть она и кормит.

— Нет.

Райдо раздраженно оттолкнул руку щенка, но тот не обиделся, отступил, так, чтобы держаться рядом, но не мешать.

— Доктор приехал...

— Пошли его знаешь куда?

Райдо ступал осторожно, но твердо.

— Знаю, — буркнул Нат.

— Вот и пошли...

— Вам плохо.

— Мне всегда плохо.

— А сегодня особенно...

— И что?

— Ничего. — Нат нахохлился. — Вам плохо, а вы тут... торчите.

— Ага. — Райдо наклонился над корзиной. — А у нее глаза серые... ты заметил?

— Заметил.

— И родинки... раз, два и три...

Три на левой щеке, одна — на правой. Круглые, выпуклые, словно бархатные. Ийлэ слюнявила палец и пыталась их стереть, еще раньше, когда родинки только-только появились и выглядели нарисованными. Отродье крутило головенкой и хныкало. Не давалось.

А глаза и вправду серые...

— На самом деле у детей цвет глаз вполне может поменяться, — доверительно

произнес Райдо.

Да, возможно, но какими бы ни сделались глаза отродья, им никогда не быть истинно-зелеными. Да и родинки вряд ли пропадут.

— Пойдем. — Райдо поднял корзину. — Я охренеть до чего не хочу с доктором встречаться. Он вечно норовит напичкать меня какой-нибудь гадостью...

Ийлэ не собиралась идти, но...

...встала.

И Нат, сверкнув глазами, попятился, позволяя ей идти следом за псом. А может нарочно оставаясь сзади, чтобы контролировать каждое движение Ийлэ.

Ждал удара?

Она бы ударила... наверное, ударила бы, тем более что спина пса, широкая и такая удобная, была рядом. От этой спины пахло дымом, стиральным порошком и немного — кровью.

Рубашка прилипла. Натянулась.

— Почему ступеньки такие узкие? — проворчал Райдо, цепляясь за перила, которые тоже были узкими и неудобными для него. Ступеньки скрипели, перила шатались, Ийлэ же с тревогой следила не столько за псом, сколько за корзиной.

Уронит.

Он держит крепко, пальцы вон стиснул до белизны. Но рука дрожала мелко, предательски...

— Не бойся, — сказал пес, оказавшись в коридоре. А кому сказал — не понятно. — Сейчас придем... к доктору, стало быть... пусть посмотрит... пусть скажет...

Что именно должен был сказать доктор, Ийлэ так и не узнала, потому что пес покачнулся вдруг, закашлялся и, прислонившись плечом к стене, медленно по этой стене съехал.

— Пусти! — Нат оттолкнул ее, не зло, но сильно, так, что Ийлэ сама ударилась о стену спиной и с шипением осела. — Райдо!

Пес мотнул головой. Он пытался встать, и пальцы скребли ковровую дорожку, оставляя на грязной дорожке полосы-следы. Спину выгибал, давился кашлем.

— Райдо, я... я сейчас... я доктора... — Нат вскочил и, обернувшись к Ийлэ, бросил: — Только попробуй что-нибудь ему сделать!

— Нат! — Райдо сумел открыть рот, но этим именем подавился, а может, не именем, но рвотой. Рвало кусками и красным месивом, от которого исходил характерный запах крови.

Пес отворачивался, вытирал губы рукавом, но сгибался в очередном приступе.

Нат же, переводя взгляд с него на Ийлэ, должно быть не доверяя ей окончательно — и правильно, она бы тоже не поверила, пятился. А потом повернулся и бегом бросился прочь.

— Щ-ш-щенок, — с трудом выговорил пес.

Он отодвинул корзину, на которую тоже попало рвоты, но отродье к грязи относилось с полнейшим равнодушием.

— С-сейчас, — Райдо отполз и сам, — пройдет.

Ложь. Не пройдет.

Ийлэ слышала, как разворачиваются спирали побегов внутри пса. Она могла бы начертить сложный рисунок их, созданный тонкими белесыми корешками, которые пронизывали мышцы Райдо, его легкие и печень и до желудка добрались, а следом за ними, тоже белесые в отсутствие солнечного света, тянулись стебли... и на них вызревали колючие



шары семян.

Скоро уже треснут. Вот-вот...

И тогда пес умрет. Он уже почти умер, захлебнулся кровью и желчью и держится на одном упрямстве и еще на живом железе, которого уже не хватает, чтобы затянуть все раны.

Ийлэ подобралась к нему. Она двигалась на четвереньках, потому что бок от удара о стену болел и плечо тоже и страшно было, пожалуй, почти так же страшно, как переступить порог его комнаты.

Пес перевернулся на спину. А Ийлэ села рядом и, заглянув в светло-серые, с темным ободком глаза, сказала:

— Я тебя ненавижу.

— А то! — Он широко оскалился, и из носа поползли кровавые дорожки. Подбородок тоже был в крови, отчего улыбка его гляделась жуткой.

— Я... — Ийлэ положила ладонь на грудь.

Тонкая ткань рубахи промокла, Ийлэ ощущала горячую кожу, и ребра, и сердце, которое еще держалось.

— Тебя...

Пес закрыл глаза.

Он не собирался ни звать на помощь, ни сопротивляться, казалось, полностью смирившись с тем, что издохнет сейчас в присвоенном доме. Тот, предавший старых хозяев, и к новым относился с полным равнодушием, наверное, это было справедливо.

— Ненавижу, — шепотом сказала Ийлэ и, дотянувшись до рта, из которого воняло, вдохнула каплю силы. Пальцы надавили на грудь, призывая разрыв-цветок к спокойствию. И тот откликнулся. Замер, позволяя псу сделать вдох.

Наверное, ему казалось, что облегчение — это разновидность агонии.

И вдохнул он глубоко, насколько хватило сил, а выдохнул резко, и на губах запузырилась кровь.

Ийлэ усилила нажим, второй рукой быстро рисуя на грудной клетке пса знаки подчинения. Она не была уверена, что у нее получится, как не была уверена, что хочет, чтобы получилось, но...

Лоза замерла.

И отступила. Она погружалась в сон, зыбкий, ненадежный, которого хватит... на несколько недель хватит. А нескольких недель хватит Ийлэ, чтобы решить, куда уйти.

— А... а ты... — Райдо открыл глаза.

— Ненавижу...

— Разговариваешь. — Он схватил за руку и держал, не позволяя отстраниться. — Разговариваешь ты... это хорошо...

И кольцо, сжимавшее горло, запрещавшее Ийлэ говорить, пропало.

— Я...

— Ты... тебя зовут Ийлэ, я знаю... а для нее мы еще имя не придумали, но придумаем...

— Хочу...

— Знаю. Но если надо, ты... говори. — Он облизал губы и скривился. — Не замолкай, ладно?

— Хочу, чтобы ты сдох... все вы... сдохли...

— Это да... это бывает...

Райдо погладил ее пальцами свою щеку, гладкую и влажную.

— Скажи еще что-нибудь.

— Ты сдохнешь.

— Конечно. Когда-нибудь... но вообще я хочу до весны дотянуть... как ты думаешь, получится?

До весны? У самого — нет, но если Ийлэ поможет... он теперь знает, что Ийлэ способна помочь... и гнать не станет... до весны... а весной леса оживут и у нее появится выбор.

— Получится, — оскалился Райдо и попытался сесть. — Замечательно... говорят, здесь яблони цветут красиво...

Альва отпрянула, едва слышала шаги Ната.

Щенок спешил.

Тянул доктора за руку, а показалось, что еще немного — и за шиворот схватит ничтожного этого человечка, которому явно было неуютно, что в доме, что рядом с Натом. Он же, растревоженный, почти перекинувшийся, и вправду выглядел грозно. Топорщились иглы в волосах, левая щека покрылась чешуей, а на руках прорезались когти. И сам он сгорбился, сделавшись шире в плечах, будто бы плечи эти тянули его к земле. От Ната пахло злостью, и Райдо знал, что злится щенок вовсе не на альву, которая благоразумно попятилась, не забыв, однако, прихватить корзину. Отступала она очень медленно.

— Что здесь происходит? — визгливо поинтересовался доктор, которого отпустили.

Он и сам отпрянул, заслонившись от Ната кофром.

— Ничего. — У Райдо получилось сесть.

Кажется, он и встать бы смог, но пока предпочитал не рисковать, потому как, если вдруг поведет, если вдруг легкость, которую он испытывал, окажется обманом, то с Ната станется силой в постель уложить. А лежать Райдо не хотел ни в коридоре, ни в постели.

— Уже ничего.

— Ему плохо. — Нат и говорил-то с трудом, клыки мешали да отяжелевшая вытянувшаяся челюсть, отчего речь его сделалась неразборчивой, глухой.

— Мне уже хорошо. — Райдо все-таки поднялся, опираясь на стену. — А так... отравился, с кем не бывает?

— Вас рвало кровью. — Доктор указал на пол. — Это значит, что процесс вошел в заключительную стадию...

Альва беззвучно скрылась на чердаке.

Вот ведь.

А почти получилось уговорить ее спуститься...

— Слушай. — Райдо стянул рубаху, во-первых, она была грязной и воняла, а во-вторых, ему хотелось увидеть свой живот, на котором он до сих пор ощущал отпечаток ладони.

Отпечаток был холодным, и холод от него просачивался внутрь Райдо, растекался по крови, очищая эту самую кровь. Боль и та отступила. А он, оказывается, забыл уже, как это хорошо, когда не больно.

— Слушай, — повторил он, с удовольствием отмечая, что пальцы обрели прежнюю подвижность, и голова не кружится, и вообще он почти здоров. — Скажи, откуда вообще это странное желание взялось?

— Какое?

— Похоронить меня.

Нат подобрался ближе, почти уткнулся носом в живот. Чует? Конечно, чует. От альвы все еще пахнет осенним лесом, тем, который пропитан блеклыми туманами и лиловыми дымами, бродячей паутиной, сосновой смолой.

И запах этот остался на Райдо.

Хорошо. Ему нравится.

— Что она сделала? — Нат потер щеку, и чешуя поблекла, превращаясь в серебристые капли живого железа. — Ты теперь здоров, да?

— Нет.

— Но...

— Забудь.

Забывать Нат не был намерен. И на чердачную лестницу уставился долгим задумчивым взглядом.

— Ты более здоров, чем раньше, — произнес Нат обвиняюще. И доктор, который собирался было что-то сказать, наверняка важное, существенное, про опыт свой немалый, какой-то однозначно утверждал, что Райдо пришла пора умереть, замолчал. — Намного более...

Райдо кивнул: с этим он не собирался спорить.

Нет, в груди еще kloкотало и каждый вдох давался с немалым трудом. И живот крутило со страшной силой, и вообще мир кружился, раскачивался, но, к предвечной жиле, этот мир был. Многообразный. Яркий.

И Райдо, присев на корточки, трогал ворсистую поверхность ковра, наслаждаясь этим прикосновением и тем, что пальцы чувствовали и жесткость ворса, и пыль на нем, и стены, неровные под бумажными обоями, и сами эти обои, гладкие, со вдавленным рисунком. Он вдыхал их запах и запах дерева — старые рамы и паркет, который давно уже не натирали мастикой. Вернувшееся обоняние — а Райдо и не замечал, насколько боль его притупляла, — рассказало ему о многом.

О том, что Нат снова лазил на конюшни и еще на кухню заглядывал, где, верно, стащил пирожок. Пирожок был с кислой капустой и яйцом...

О том, что козу он кормил хлебом и его аромат прилип к ладоням, как и кисловатый запах козы...

О том, что доктор курил трубку с темным шерским табаком и коньяк пил, немного, не то для храбрости, не то от нервов...

— Что ж, — человек отвел взгляд и очки поправил, — если в моих услугах не нуждаются, то я...

— Нат вас проводит.

Нату не хотелось уходить, наверное, он до конца так и не поверил в это чудесное выздоровление, но послушаться прямого приказа не посмел. Шел, оглядывался, едва не споткнулся на лестнице.

— И Дайну позови! — крикнул Райдо, поднимая измаранную рубаху. — Пусть приберется здесь... и вообще, пусть приберется.

Запах пыли и копоты теперь ощущался резко.

От Дайны воняло спиртом и ландышами, и запах был настолько резким, едким, что Райдо зажал нос.

— Не подходите, — попросил он, нанося тем самым очередное смертельное оскорбление. — На будущее, пожалуйста, не пользуйтесь этими духами больше. У меня

обоняние тонкое.

Райдо распахнул окно, впуская ледяной ветер.

А на стекле-то сыпь дождя, в которой тают остатки ледяного узора, стало быть, зима близко. Подобралась, а он и не заметил.

Чудо какое...

Проведя ладонью по влажному подоконнику, Райдо с немалым наслаждением вытер лицо.

Холодная вода с запахом стекла и металла. И дерева еще. Неба серого, в промоинах. Полумесяца, который висит низко, над самой крышей, едва ли не заслоняя собой солнце. Оно-то, напротив, сделалось крохотным, с мышиный зрачок.

Райдо сделал глубокий вдох, медленный, с наслаждением ощущая, как расправляются ребра, а с ними растягиваются мешки легких, продранные, но уже зарастающие.

— Это все, что вы хотели? — спросила Дайна скрипучим голосом.

Недовольна. И кажется, надо бы извиниться, но... к бездне первородной извинения. Он только-только ожил, а жизни этой слишком мало осталось, чтобы тратить ее на хороводы хороших манер.

— Нет. Не все. Кажется, я просил, чтобы в доме навели порядок.

— Я...

— Вы.

Подбородки Дайны мелко затряслись. Но очередную обиду она проглотила. Райдо же вяло подумал, что будет смешно, если именно сейчас разобиженная экономка сыпанет в бульон крысиного яду...

Не осмелится. Эта из тех, которые ненавидят тихо, исподволь, никогда не переступая черту закона. Другое дело, что в этой черте многое наворотить можно.

Вот альва могла бы...

Но альва понимает, что ей некуда идти. Не зимой. А значит, у них обоих появился шанс... до треклятой весны бездна времени — три с половиной месяца, если по календарю...

— Я не в состоянии убрать весь дом в одиночку, — наконец произнесла Дайна. Говорила она сдержанно, но рыжеватые брови, которые Дайна подкрашивала угольным карандашом, сдвинулись.

— Такого подвига я от вас не жду. — Райдо глотал холодный воздух и дождь пил, слизывая капли с губ, наслаждаясь вкусом этой воды. — Отправляйтесь в город. Наймите кого-нибудь, чтобы убрали... и чтобы убирали постоянно.

Он отошел от окна.

— Видите? — Райдо провел пальцем по каминной полке и палец этот экономке продемонстрировал. — Этак к весне мы зарастем так, что не откопают...

— Кого нанять?

— Мужчин. Женщин. Проклятье, вы беретесь домом управлять?! Так управляйте, а не спрашивайте меня, кого нанимать... да кого угодно, лишь бы порядок был!

— Вы... вы на меня кричите? — Дайна всхлипнула. — Я... я так стараюсь... я для вас...

— Для меня. И для себя. — Райдо ненавидел женские слезы. — Кажется, я за старания вам плачу, верно?

Проклятье.

Такой день, когда ему почти и не больно, когда он почти живой уже, а она тут плачет... и

с чего, спрашивается? Разве он просил что-то, чего не должен был?

— Послушайте, — он вытер руку о штаны, которые сами по себе не отличались чистотой, а потому особого ущерба не претерпели, — мне жаль, если я вас обидел. Мне казалось, что вы к моему характеру привыкли...

— Вам больно? — Дайна вновь всхлипнула и часто заморгала влажными ресницами.

— Мне не больно. Мне грязно.

— Где?

— Везде, Дайна... — Райдо проглотил рык. — Я понимаю, что в одиночку вы не способны управиться с домом. Но я не понимаю, что мешает вам обратиться в агентство. Пусть пришлют горничных. И лакеев... и кто еще там нужен?

Она прикусила губу. Стоит. Теревит фартук. И слеза по щеке ползет...

...а ведь молоденькая...

...раньше Райдо плевать было на то, сколько ей лет...

...точно, молоденькая... чуть за двадцать? И уже экономка? Он, конечно, не великий специалист по прислуге, ею матушка занималась, как и прочим домашним хозяйством, но Райдо думал, что экономкой должна быть женщина в возрасте.

...и платье это из темно-красной шерсти, явно перешитое, расширенное. Экономки носят платья скучные, из черной ли саржи, из серого ли сукна, позволяя себе единственным украшением кружевной воротничок.

Воротничок имелся. Кружевной, кокетливый, заколотый на горле круглой брошью-камеей. К нему — широкие манжеты, накрахмаленные до хруста. И вставки на рукавах.

И кажется, Райдо догадывается, для чего, точнее сказать для кого было выбрано именно это платье, обнажающее и круглые плечи, и налитую грудь...

Он потер переносицу, чувствуя, как наваливается усталость.

— Вы достались мне вместе с домом. Я не стал вникать в детали, — он повернулся к Дайне, разглядывая ее, с удивлением подмечая то, чего не видел раньше, — я не спрашивал вас ни о том, сколь долго вы занимали сию должность, ни о рекомендациях, которые могли бы подтвердить ваши слова...

...золотистая пудра на плечах, рисованный румянец, помада гладкая, красная...

Взгляд этот с поволокой. И пальчики с аккуратно подпиленными ноготками. Сами руки белые, ухоженные...

— Я бы не хотел вас увольнять.

— Увольнять? Вы... вы не можете меня уволить...

— Могу, — ответил Райдо, глядя в синие глаза. — Вот такая я скотина. Но мне бы и вправду не хотелось.

Она прижала руки к груди и горестно вздохнула.

— Видите ли... Дайна, — Райдо отвел взгляд от этой груди, — я надеюсь, что вы все же вспомните о ваших обязанностях... и займетесь домом.

— Да?

Взмах ресниц. И губы бантиком.

— Да, Дайна. — Он отвернулся. — Есть одно обстоятельство... непреодолимой, так сказать, силы... дело в том, что женщины меня не интересуют.

— Да? — Удивление в ее голосе было искренним.

— Мужчины, впрочем, тоже, — на всякий случай уточнил Райдо. — Болен я, Дайна, если вы не заметили.

— И... сейчас?

— И сейчас, — Райдо произнес это с чувством огромного удовлетворения, впервые, пожалуй, радуясь своей болезни. — Поэтому, будьте любезны, перенаправьте вашу энергию в более благодарное русло.

— Вы... на что намекаете?

Оскорбленная невинность. Впрочем, Райдо был уверен, что невинностью здесь и не пахло, а оскорбление было наигранным.

— Я прямо говорю. Оставьте меня в покое. И займитесь тем, за что я плачу. В противном случае я вас уволю.

И поскольку раздражение, что женщина эта своим упрямством отняла у него четверть часа чудеснейшей жизни, в которой нет боли, было велико, Райдо добавил:

— Без рекомендаций.

Дайна, против опасений, не стала ни в обморок падать, ни в слезы ударяться. Она присела в реверансе, продемонстрировав обильную грудь, которая с этойкой позиции выглядела еще более обильной и пышной, и спросила сухо:

— Могу я идти?

— Конечно. Разве я вас задерживаю?

Дверь она прикрыла аккуратно, но ее злость, даже не злость — но гнев, с трудом сдерживаемый, выдавали каблучки, которые цокали по паркету громко, точно хотя бы этойкой мелочью Дайна желала хозяину досадить.

...а девчонку он так и не покормил.

...и имя не выбрал.

Ладно, без имени она как-нибудь да проживет, но молоко... и Райдо, широко зевнув — спать хотелось невероятно, — вытащил из гардеробного шкафа рубашку, мятую, но хотя бы чистую, пусть и пахнущую сыростью.

На кухню за молоком он спустится. А потом поднимется на чердак, чтобы сказать:

— Слушай, я тут подумал... а давай назовем ее Хильденбранд?

Альва только фыркнет.

...а спустя два дня в доме объявится шериф.

Райдо смутно припоминал этого человека.

От него еще тогда пахло табаком, но не черным, каковой предпочитал доктор, а ядреным местным самосадам, который мололи на ручных мельницах, чтобы набивать им узкие папиросы. Табак шериф носил в узорчатом кисете с бахромой. Бахрома была и на рукавах кожаной его куртки, и на голенищах высоких сапог. Вот бахромой Райдо точно помнил, а лицо — нет.

Вытянутое, сухокостное, с выдающимся горбатым носом, с усами седыми, которые свисали вялыми виноградными плетями, и куцей угольно-черной бородкой, на этом лице глядевшейся чужеродной.

Бородку шериф пощипывал.

Усы — гладил широкой ладонью.

И на пальце его тускло отливало золотом кольцо.

— Двадцать пять лет вместе, — сказал он, заметив, что взгляд Райдо за это кольцо зацепился. — Самому не верится...

Он приехал отнюдь не затем, чтобы рассказать о кольце и о супруге своей, в последние годы утратившей стройность фигуры, зато пристрастившейся к табаку, тому самому, местному, который и выращивала на грядках наравне с помидорами да кустами роз. И Райдо не выдержал. Он дождался, пока шериф допьет бренди — от чая он отказался, — и сам задал вопрос:

— Что вам надо?

— Альва. — Йен Маккастер не стал ни лукавить, ни взгляд отводить.

— Зачем?

— Судить.

— За что?

Он пожал плечами: дескать, эту конкретную альву, может, и не за что, но вот все прочие...

— Нет. — Райдо поднял стакан, широкий и из толстого стекла, которое казалось желтым.

— Почему?

— Это неправильно.

— Неправильно, — охотно согласился Йен Маккастер, вытягивая по-журавлиному длинные, тощие ноги. — Но порой приходится искать компромисс.

Сам он скривился, показывая, что компромиссы ненавидит и даже втайне презирает себя за нынешний визит и за разговор этот, избежать которого не выйдет.

Ему бы попрощаться и уйти.

Но не в нем одно дело.

Есть мэр, который тоже прекрасно понимает ситуацию. Есть советники и горожане, не желающие смуты, и есть люди, обыкновенные люди, с обыкновенными их бедами, потерями и ненавистью.

Они почти позабыли. Смирились. А тут альва...

Йен Маккастер бренди допил, а чего ж не допить, когда бренди хороший? И, поставив пустой стакан, глянул на нового хозяина Яблонево́й долины.

— Вы здесь... чужой человек. Новый...

— И не человек вовсе, — широко усмехнулся Райдо.

— И не человек, — задумчиво повторил шериф, растирая в пальцах табачную крошку. —

Однако... вы должны понять... этот город... довольно-таки своеобразное местечко... нет, не в том плане, что от других городков отличается, но... люди тут живут... давно живут... веками... мой прадед сюда из-за гор переехал, а меня до сих пор считают чужаком. Нет, своим, но все равно чужаком. Так и называют, Йен Чужак... память у них долгая.

— И что?

— Они ей не простят.

— Чего?

Шериф вытер пальцы о штаны и медленно произнес:

— Войны. Чисток. У старухи Шеннон трое сыновей погибли, а мужа она еще когда схоронила и осталась теперь одна. Тата Киршем потеряла мужа, а детей у нее пятеро. И муженек ее приходился Вишманам племянником, а Вишманов всем семейством в лагерь отправили. Тайворы невестки лишились, на четверть крови из ваших была. А ведь свадьбу только-только отыграли, хорошо детишек нажить не успели. У Гирвоф — половина семьи в лагерь ушла, а вторая — на фронт, остались бабы одни...

Шериф замолчал, позволяя Райдо самому додумать, но думать тот не желал. Хмыкнул, щелкнул когтем по стеклу и произнес:

— Ей ведь тоже досталось.

— Знаю. И понимаю. Только и ты пойми, что им нужен кто-то, кого можно обвинить. — Шериф поднялся. Он был нескладен и несколько смущался этой нескладности, что худобы, что чрезмерно длинных ног, что столь же длинных рук, которыми он размахивал, то и дело задевая мебель.

— Ее? — хмуро поинтересовался пес.

— А хоть бы и ее. Да, лично она ни в чем не виновата. Но она альва. А они — люди, которые только-только начали отходить от войны. Они еще ненавидят. И эта ненависть лишит их разума.

— И что вы предлагаете? — Райдо скрестил руки на груди, наблюдая за гостем, не способный понять, как к тому относится.

— Отдайте альву. В мэрии устроят суд и...

— И приговорят к смерти.

— Допустим...

— Приговорят. И повесят. Думаю, на площади, чтобы все обиженные смогли прийти и поглазеть, как вершится справедливость.

— Пусть так. — Йен задел локтем высокий кувшин, который едва не слетел со столика, но Йен успел его поймать. — Пусть так, — повторил он гораздо тише. — Но это цена спокойствия.

— Вашего?

— И вашего. Их спокойствия. Думаете, мне все равно? Нет. Я знал эту девчонку и ее родителей, как знаю каждого жителя в этом треклятом городке. И знаю, что они так просто не отступят. Я не хочу, чтобы эти жители пришли сюда сами за собственной справедливостью, поскольку тогда или ваш замечательный дом вспыхнет... или вам придется убивать их.

Йен выдохнул.



— И вы пытаетесь откупиться?

— Я пытаюсь найти хоть какой-то выход. Одна жизнь против многих. Простая арифметика.

— Хреновая у тебя арифметика, шериф, но за предупреждение спасибо.

— Не отдашь?

— Не отдам.

— Мэр...

— Плевать на мэра...

— И на людей?

— На них тем более плевать. Если им, чтобы почувствовать себя легче, надо кого-то повесить, то... в бездну таких людей. И да, убивать я буду. И уж поверьте, совесть меня не замучает.

— Совесть... — хмыкнул Йен Маккастер. — Порой я думаю, что совесть — это такая фантазия...

От шерифа в кабинете остался пустой стакан и терпкий запах табака на подлокотниках кресла. Райдо присел у этого кресла на корточки и подлокотники обнюхал.

— Еще лизните. — Нат стуком в дверь себя не обременял.

— Понадобится, и лизну, — вполне миролюбиво отозвался Райдо. — А в тебе, щенок, нет уважения к старшим.

— Есть, — возразил Нат, делая глубокий медленный вдох. — Оно просто спрятано в глубине души...

— Слишком уж в глубине. Слышал?

Нат кивнул.

Подслушивать он умел, хотя и не любил, впрочем, не любил он многое из того, что сам полагал первейшей своей обязанностью. К примеру, чистка сапог. Ее Нат от души ненавидел. И Райдо не настаивал, его вполне себе устраивали сапоги нечищенные, а то и вовсе заросшие пылью или же коростой местной рыжей глины, которая выглядывала после дождей в промоинах земли. Эта глина успела стать личным врагом Ната, впрочем, как пыль в углах комнаты и гардеробный шкаф, обладавший удивительным свойством превращать свежестырированные и выглаженные сорочки в пропахшее сыростью тряпье...

По сравнению со стиркой, глажкой и вечным беспорядком в комнате Райдо, в которую Нат ревниво не допускал экономку, подслушивание было мелким неудобством и неудобством полезным.

— И что думаешь?

— Думаю, он прав.

— То есть альву надо отдать? — Райдо провел по изгибу ручки ладонью, ковырнул резьбу, которая успела потемнеть и тоже нуждалась в чистке.

Нат говорил об этом Дайне. А она отмахивалась. Врала, что некогда ей... как на свиданки бегать, не стесняясь на конюшне лошадь брать, так время имеется...

...Дайна полагала, что Нат за ней следит. И была права.

Он следил и за ней, и за кухаркой, и за альвой, но за той было не интересно, альва все время проводила на чердаке, спускаясь лишь дважды в день: в четверть первого и в половине седьмого.

А Райдо поднимался на чердак ровно через полчаса.

И Нат знал, что на чердаке он проведет от часа до полутора, разговаривая с альвой,

вернее, сам с собой, потому как она все одно не отвечала.

Нет, за альвой следить было не интересно, за Райдо — небезопасно. А Дайна что-то недоговаривала. Ната это беспокоило. Правда, о беспокойстве он молчал, зная, что Райдо его не разделит. Посмеется. И запретит. А прямые запреты Нат не нарушал.

Что же до вопроса, то еще неделю тому Нат с радостью бы от альвы избавился. Неделю. А сейчас...

— Она вам нужна.

— Значит, не отдавать? — Райдо усмехнулся.

— Нет.

— А если придут?

— Сразу не придут. — Нат позволил себе сесть и оглядеться. В этом доме он чувствовал себя неуютно, он вообще во всех домах чувствовал себя неуютно. Давили стены. Крыша над головой казалась ненадежной. Здесь же... здесь пахло альвами.

Травой.

Деревом.

Землей весенней, жадной, которая расползается под лапами, обнажая переплетение корней. И те, белесые, тонкие, не корни — черви — оживают, ползут в поисках добычи. Он помнил, каково это — проваливаться по самое брюхо в черную жижу, которая вскипает, тянет, вздыхает, причавкивая от голода...

...то поле осталось позади.

...десятки полей и многие мили дорог...

И мир наступил. Всем сказали, что наступил мир, вот только Нат не верил словам. И, ступая на потускневший паркет, замирал, прислушивался к каждому шагу — не затрещат ли доски, расползаясь.

— Сразу не придут, твоя правда. — Райдо оказался рядом. — Нат... что ты узнал?

А Нат уже думал, что и не спросит. С Райдо такое прежде бывало, даст задание, а после забудет... лучше бы и сейчас так. Но врать Нат не привык.

— Вам не понравится, — предупредил он.

— Да уж предполагаю...

Райдо устроился напротив. Налил виски. Понюхал и отставил.

— Усадьба принадлежала альвам. Младшая ветвь семейства Эннуин. Хозяйка — Камо Эннуин. Хозяин... он из другой ветви, но откуда — никто толком не знает. Дочь...

— Ийлэ.

— Да.

— Что еще?

— Появились здесь лет двадцать тому. До того в усадьбе жила старуха, но она съехала. А эти поселились и жили. Никуда дальше городка не выезжали. Жили тихо очень. Он — ювелир... вроде как ювелир... был, — поправился Нат. — Не воевал. Не... вообще не высывался. Она цветами занималась... розами. Ну вот жили себе... а потом война... и наши...

— Пришли, — помог Райдо.

— Да. Пришли. Городок сдался без боя. Тут воевать особо некому было... тех, кто мог, давно забрали... ну и тыл... глубокий... короче, мэр сумел договориться... его оставили на месте. И шерифа. И вообще, всех, кто власть... ну тоже не с руки было с людьми воевать.

— Это я уже понял. — Райдо подпер подбородок кулаком. — Но при таком раскладе

альвы были лишними?

— Н-наверное... их того... ну... в общем...

— Убили.

— Да.

Нат отвел глаза. Почему-то ему было стыдно. Нет, альвов он ненавидел, но стыдно все равно было.

— А Ийлэ?

— Ее не сразу нашли... вроде как родители спрятали... или сама ушла... только недалеко... потом уже взяли... ну и... того...

У Ната вспыхнули уши.

— И того, и этого... долго держали?

К счастью, Райдо не стал в подробности вдаваться.

— Полгода почти...

— Полгода... отпустили?

Нат мотнул головой: вот теперь начиналось непонятное. Зато с фактами было управляться проще, чем с людскими домыслами:

— Стаю держал Бран из Медных. Младшая ветвь. Второй сын...

Райдо кивнул.

С Браном из рода Высокой Меди он встречался, и встреча эта оставила не самые приятные воспоминания. Горделивый щенок, у которого только и есть что кровь Высших, старый род и амбиции. Он полагал, будто все вокруг созданы исключительно для его, Брана, удобства. И если Райдо хоть что-то понимал, то этакую забавную игрушку, как живая альва, Бран добровольно не выпустил бы. Сбежать бы тем более не дал, разве что для очередной забавы. А до забав всяких, поговаривали, он охочим был...

— В городе его боялись, — счел нужным уточнить Нат. Он сидел вполоборота к окну, и на глянцевою, пусть и несколько запыленную поверхность стола ложилась Натова тень. У тени этой был жесткий подбородок и высокий лоб, а волосы торчали колючками.

Тень выглядела старше Ната.

— И что с ним произошло?

— Произошло, — ответил Нат. — А никто не знает. Дом загорелся. Потушили, конечно. И нашли Брана, а с ним — еще двоих. Мертвыми.

— Нат, ты мне страшную историю рассказать пытаешься?

— А что в ней страшного? — Натова удивление было искренним.

Он ведь и вправду не понимает. Не вспоминает даже о школе, о темном дортуаре, погасшей свече, запахе дыма, который поселяется надолго. О кроватях, стоящих вплотную, и одноклассниках, что ворочаются на этих узких кроватях.

О шепоте:

— А вот однажды...

...и очередном глупом рассказе про черного учителя, которого убили ученики. Или про черного же ученика, запоротого насмерть. О человеческом духе, что выходит из стен, ищет виновных... о призрачной стае... сколько их было, страшных сказок?

Для Ната они сказками и остались. Слишком много он видел и вправду страшных вещей.

— Ничего. — Райдо дотянулся и провел ладонью по жестким волосам. — Значит, нашли их мертвыми. В запертой изнутри комнате...

— А... а я про комнату ничего не говорил! Как ты догадался? — Нат прищурился,

словно подозревая хозяина в подвохе.

— Никак. Жанр требует, чтобы комната была непременно заперта изнутри.

Про жанр Нат не понял, но уточнять не стал.

— Значит, комната была заперта?

— Да. И на окнах решетки.

— Трое мертвецов в запертой комнате и решетки на окнах... — оценил Райдо. — Что еще?

— Альва ушла.

— Из комнаты?

— Говорят, что да.

— Кто говорит?

Нат нахмурился, припоминая имена. Будучи существом в высшей степени дотошным, он показания свидетелей, которые, впрочем, понятия не имели, что они свидетели и дают показания, записал.

— Дайна, — назвал он первое, которое Райдо вовсе не обрадовало. — Она видела, что перед пожаром альву привели в тот кабинет...

— Она тебе сказала?

— Не мне. Шерифу. Я протоколы читал... их давать не хотели, но я заплатил...

— Стоп.

Нат послушно замолчал.

— Итак... Дайна... Дайна... три трупа, альва... альва... — задумчиво повторил он. — И три трупа... протоколы вскрытия были?

Нат покачал головой.

— Официальная версия?

— Наглотались дыма.

— Вполне возможно. — Райдо потер переносицу. — Ядовитого дыма... по-другому она бы с ними не справилась. Очаг возгорания в той комнате?

Нат нахмурился, пытаясь вспомнить содержание бумаг, которые обошлись ему недешево. Про очаг возгорания в них не говорилось... в них, если подумать, о многом не говорилось.

К примеру, об альве.

Ее не стали искать.

Почему? Решили, что погибла? Или что погибнет?

Тела продержали две недели, а после отправили обозом. Почему так? Не для того ли, чтобы сделать невозможным повторное вскрытие?

...альву держали на цепи.

И цепь в кабинете обнаружили.

...как избавилась?

...обыкновенно.

Тело. Ключ при теле. Ошейник снять. Уйти.

Понадеяться, что дом сгорит, а с ним и псы, и улики. Стройная теория, опасная... но что-то в ней не давало Нату покоя. И он, излагая факты, которые и фактами-то можно было назвать с натяжкой — слишком уж много времени минуло, — хмурился. Запинался. И наконец замолчал, позволяя Райдо самому сделать выводы. Он же ущипнул себя за ухо, как делал всегда, пытаясь сосредоточиться на чем-то важном, и сказал:

— Пойдем.

— Куда?

— Туда... туда, где все произошло.

Дайна поднималась на чердак крадучись, но Ийлэ все одно услышала ее: дом-предатель решил играть на равных со всеми. И тонкие половицы поскрипывали, а дверь протяжно застонала, впуская теплый воздух и запах ландышей.

— Ты здесь? — Дайна остановилась на пороге, прищурившись, вглядываясь в полумрак, который самой Ийлэ казался привычным, уютным даже.

Снаружи дождь. И небо выкрашено осенней лиловой пастелью. Солнце бледное, тусклое. Мороз по утрам. Ийлэ чувствовала его, пусть бы рядом с печной трубой ей было тепло. Мороз оставлял узоры на окнах и тонкую пленку льда на подоконнике. Он пробирался на чердак, шевелил тряпье, тревожил кукол, так и застывших в вечном своем чаепитии.

Но главное, что света было мало. А в полумраке лицо Дайны выделялось белым пятном.

— Ты здесь?

Ийлэ тронула корзину, которую пес подвесил на крюк. Крюк был старым, проржавевшим, но крепким. Райдо долго его шатал, а убедившись, что и под собственным его весом крюк не спешит ни ломаться, ни выскальзывать из дерева, закинул на него веревку.

А к веревке уже и корзину привязал.

— Здесь, — с удовлетворением отметила Дайна и волосы поправила.

Волосы у нее всегда были роскошными, но прежде, в прошлой жизни Ийлэ, в которой Дайна вынуждена была носить серое платье горничной, она заплетала волосы в тугие косы, а косы прятала под чепцом. И тот чепец тоже был иным, белым, строгим.

— Послушай, — Дайна притворила дверь, ведущую на чердак, — я... я пришла помочь тебе...

В это Ийлэ не поверила.

— Думаешь, мне тебя не было жаль? Было. Но что я могла сделать?

Ийлэ промолчала.

Впрочем, ответа от нее и не ждали. Дайна подошла, ступала она крадучись и башмаки, наверное, сняла еще там, на лестнице, оставшись в теплых вязаных чулках.

— Но сейчас все иначе...

Ийлэ склонила голову на бок.

А ландышами пахло, но слабо... и платье нынешнее было не из маминых. Серый атлас и белое кружево... поторопилась... накануне маме доставили посылку. Она еще расстроилась: ткань казалась скучной, исчез тот фиалковый отлив, ради которого матушка и приобрела ее...

...ничего, ткань лишь ткань.

Маме уже все равно.

— Сейчас мы можем помочь друг другу... ты мне, а я тебе... я тебе больше... — Дайна коснулась корзины, и Ийлэ зашипела.

Дайна тотчас отдернула руку.

— Ты... ты же вынуждена оставаться здесь... с ним... тебе просто некуда идти, я понимаю... но ты же ненавидишь его, да?

Ийлэ кивнула.

Ненавидит.

И Райдо, который думает, что если она помогла раз, то поможет снова. И мальчишку его, что вечно крутится возле чердака, но больше не заглядывает. Он тоже рассчитывает на Ийлэ.

[Купить полную версию книги](#)